

Р 2

Элла Фонякова
**ХЛЕБ
ТОЙ ЗИМЫ**

н о в е с т ь



8670

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Новосибирск 1970.

Annotation

Автобиографическая повесть современной петербургской писательницы Эллы Фоняковой посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора. Написанный ярким, простым и сочным языком на основе собственных воспоминаний «Хлеб той зимы» — это честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания кошмаров. Книга переведена на многие языки, в том числе вышла в Германии и США.

- [Элла Фонякова](#)
 - [Когда в Ленинграде дождь...](#)
 - [«До свидания...»](#)
 - [Энзе](#)
 - [Новые заботы](#)
 - [Бомбежка](#)
 - [Вороненок Варенька](#)
 - [Мы ищем ракетчика](#)
 - [Закон Паганини](#)
 - [Немцы](#)
 - [Мы остаемся](#)
 - [Несостоявшаяся премьера](#)
 - [Ночное зарево](#)
 - [Где учительница?](#)
 - [Соседи](#)
 - [Оладьи из кофейной гущи](#)
 - [Ведущие предметы](#)
 - [Робинзон Крузо](#)
 - [Комендант крепости](#)
 - [Дорога через мост](#)
 - [Шапочка Глинки](#)
 - [Одна](#)
 - [Нюра](#)
 - [Довесок](#)
 - [«Тамбурин» Рамо](#)
 - [Воскресная застольца](#)
 - [Метель в комнате](#)
 - [У камина](#)

- [Знакомство](#)
- [Долгие-долгие дни](#)
- [Преступление и наказание](#)
- [Эвакопункт](#)
- [Будуар Зинаиды Павловны](#)
- [Барахолка](#)
- [Коммуна](#)
- [Зовут ее Галя...](#)
- [Чрезвычайное положение](#)
- [Горбушка](#)
- [Сильней слона](#)
- [Прогулка по улице Правды](#)
- [Потому что без воды...](#)
- [Кто как устраивается](#)
- [Новый год](#)
- [Дед мороз угощает супом](#)
- [День рождения тети Юли](#)
- [Обед для Тагора](#)
- [Крокодила Семеновна](#)
- [Коварное племя](#)
- [Зойка-зайка](#)
- [Третьи дворы](#)
- [Витамины](#)
- [Андрей Андроныч](#)
- [В столовке](#)
- [Жених](#)
- [В баню](#)
- [Ресторан «Квиссисана»](#)
- [Ящик, принадлежащий другу](#)
- [Казнь для гитлера](#)
- [Картофелина](#)
- [В компании Эйтов](#)
- [Мина в батоне](#)
- [Поручение](#)
- [«Милые жильцы мои...»](#)
- [Рагу из Барсика](#)
- [Пицца духовная](#)
- [Зойкина коллекция](#)
- [Посевная](#)

- [Кокосовый орех](#)
 - [Энике, бенике, си колеса](#)
 - [Мой знакомый раненый](#)
 - [На собачьем пайке](#)
 - [Пикник в удельной](#)
 - [Кантаты и оратории](#)
 - [Передай Петровой](#)
 - [Дополнение](#)
-

Элла Фонякова
Хлеб той зимы

*Светлой памяти моей матери Язовицкой Эльзы
Эдуардовны*

Когда в Ленинграде дождь...

Вместо предисловия

В Ленинграде дождь...

В квартире полутемно, тихо. Только снизу время от времени доносится глухое рычание. Это кассы в продуктовом магазине «Малыш», который на первом этаже. Магазин, где можно купить парное мясо и жирный творог, буженину и сардельки, фруктовые соки и восточные сласти, апельсины и яйца. Можно в мгновение ока смолоть на сверкающей никелем электрической мельнице ароматный кофе. А потом, перед заваркой, давать друзьям понюхать бумажный пакетик и похвалиться:

— Ну как? Чуете? Настоящий Йемен! То-то...

Отличные гастрономы есть в угловом доме напротив, и в квартале от нас, и в двух кварталах, и в трех... Если колбасы «сервелат» или маслин нет в ближайшем, можно сбегать в другой. Всего-то пять минут. И народу никого.

Мне очень нравится ходить в эти магазины. Пристально осмотреть витрины-холодильники, примериваясь то к одному, то к другому. Видеть, как продавщица длинным ножом отрезает сочные розовые лепестки ветчины. Класть в сумку обернутый прохладным пергаментом пакетик...

Я вообще люблю вид всякой снеди. Люблю кухню, накрытый стол, цветастые кулинарные книги, натюрморты. Меня возмущают гости, которые приходят ко мне сытыми — ведь накормить человека такое удовольствие! — и хозяева, которые не предлагают угощения. Но вы не думайте, я отнюдь не чревоугодница. Просто слишком отчетливо, всем существом, помню, знаю, что такое голод.

Я не часто теперь бываю в Ленинграде, где родилась, выросла, училась в университете. Живу и работаю в Сибири. Мне здесь по душе. И я резко спорю с родными, которые изредка просят:

— Может, пора уже возвращаться? Десять лет, как уехала... Подумай!

Что тут думать? Я давно для себя решила, что жить можно в любом городе — лишь бы были свое дело, хорошие люди и хорошие книги. Они везде найдутся.

Нашлись и для меня.

Но от Ленинграда мне все равно никуда не деться.

Когда идет дождь, город становится щемяще, до боли любимым. Из

углов комнат, где вот уже более полувека таится какой-то неясный хлам — до него не доходили руки бабушки, потом мамыны, теперь мои, — плывут нежные пыльные запахи. Каждая ленинградская квартира хранит такой хлам и такие запахи. И у каждого жилья они свои...

Эти запахи, нервное шуршание дождя по красно-бурым жестяным карнизам да еще фотография светловолосой девочки над расстроенным пианино с обломанными бронзовыми подсвечниками неизменно и настойчиво возвращают меня к моему детству.

К Ленинградской блокаде, с которой оно совпало.

Я сейчас расскажу вам то, что знаю, помню, вижу до сих пор отчетливо, как в кино. Расскажу о разных людях, которые жили в старых ленинградских квартирах, и о том, как они сообща преодолевали непреодолимое, хотя были совсем обыкновенными людьми, со всеми присущими человеку слабостями. О ленинградских детях, у которых не было игрушек — потому что игрушки сжигали, чтобы обогреться, и не было санок для катания по снегу — потому что санки служили погребальным транспортом.

Расскажу о зиме тысяча девятьсот сорок первого года...

Девятьсот дней блокады — подвиг ленинградцев. О нем написано много. Но когда речь идет о подвиге, любое свидетельство бывает не лишним. Удалось ли мне добавить хоть несколько новых штрихов к общей картине? Об этом пусть судят читатели этой маленькой повести — повести, где есть вымышленные имена и ситуации, но не вымышленных событий.

«До свидания...»

Солнечные лучи, легко пронзая белые занавеси, веером разлетаются по комнате.

Что сулит мне этот долгожданный воскресный день? Может, буду помогать маме собираться на дачу. На даче, в двух шагах от застекленной веранды, висит удобный, глубокий гамак, в который так хочется поскорее залезть, что он мне снится по ночам — в виде сказочной ладьи, плывущей над сосновым лесом. А еще на даче имеется сердитый медный самовар. Он кормится шишками и очень недоволен, когда их мало. Так и быть, нынче не стану лениться, как прошлым летом, и вдоволь натаскаю этому толстому Самоварычу его любимых, еловых. Пусть пыхтит и пыжится от удовольствия, распространяя вокруг вкусный хвойный дымок! Но, может быть, собираться будем завтра, а сегодня пойдем гулять через Тучков мост, на Петроградскую сторону. Забредем в Зоосад. Вот это будет здорово! Соседская Ирочка рассказывала, что там с недавних пор катают не только на пони, но и на верблюдах. Наверное, у них очень удобно между горбами и мягко, как в гамаке... Белому мишке надо во что бы то ни стало раздобыть эскимо. Отозвать папу в сторонку и тихо-мирно с ним договориться. С ним можно договориться. Мама-то наверняка не разрешит, скажет, что незачем засорять бумажками бассейн, или что медведи простудятся от мороженого, или что-нибудь еще в этом роде. Мама — строгая и точно знает, чего можно, а чего — нельзя.

А может, мы поедем в большой парк на островах, который взрослые называют непонятым словом «цепекео». В парке папа берет лодку и дает мне немного погрести. Но это — мечты. А покамест я еще лежу в своей кровати.

Предстоит одевание, умывание и бесконечный завтрак. Бесконечный потому, что я ненавижу кефир, наотрез отказываюсь его пить, и много времени уходит на борьбу с родителями.

Интересно, кто сегодня займется моей кормежкой? Наверное, папа. Мама по выходным обычно говорит:

— Федя, твоя очередь. Могу я разок поспать?

Папа, еще сонный, взъерошенный — густые черные брови-лохматки смешно торчат в разные стороны, является ко мне:

— Эй, ребенок! Подъем!

Вот и дверь уже скрипнула. Ныржаю с головой под одеяло. Пускай папа

подумает, что я куда-то подевалась. Я часто так от него прячусь, а он очень пугается и драматическим голосом взывает к несуществующей публике:

— Пропал ребенок! Вот несчастье! Куда же он у меня пропал? И кто это его унес? Надо срочно позвонить в милицию! Вы, случайно, не видели, дорогие граждане, здесь одну противную девчонку, которая вечно пропадает? Ленка, Ленка, где ты?

Тут я выскакиваю и ору:

— Не надо милицию! Я нашлась!

— Ах, ты нашлась, — говорит папа, — вот я тебя сейчас!

И у нас начинается развеселая возня, беготня по комнате и швыряние подушек. До тех пор, пока мама решительно не прекращает этот шум, который может потревожить соседей.

Лежу, притаившись, и хихикаю под одеялом. Но никто меня не ищет. Делаю маленькую щелку и оглядываю комнату одним глазом. Мама... В чем дело? Она стоит подле табуретки с моими вещичками. Наклоняется, берет платице, перебирает его руками, а сама смотрит куда-то в сторону, в одну точку. И лицо у нее напряженное и такое печальное, что мне становится не по себе.

Высвобождаюсь из-под одеяла — мама словно не видит меня.

— Мамуленька, я сейчас, видишь, я уже встала...

— Да, да...

Мама все еще отсутствует, ее нет со мной.

Я встревожена: провинилась, наверное, чем-то. Только чем? Ума не приложу. Тихонько дотрагиваюсь до маминой руки. И вдруг она, обычно такая сдержанная, крепко-крепко, до боли, обнимает меня, прижимает к себе, будто боится, что меня могут отнять у нее, забрать, увести.

— Мамочка, мама, что ты? Ну что ты?

— Ничего, девочка, ничего. Сейчас пройдет...

Мама вытирает глаза. Плакала? Из-за чего?

Приходит папа. Он тоже какой-то необычный, невеселый.

— Лена, — медленно говорит он, — сегодня война началась. Война с Германией. Побудь дома одна. Нам с мамой надо уйти.

...Война! Как это — война? Что это — война? От мальчишек из нашего двора я знаю, что война — самая интересная на свете игра, в которую девчонок берут только в виде исключения. Все бегут, стреляют из деревянных пистолетов, рогаток, кричат «Ура!» и дерутся. Но это игра... А как выглядит война взаправдашня?

...Через несколько дней, вечером, в комнате родителей, тесно заставленной шкафами, собираются мамины друзья — сотрудники научно-

исследовательского института истории театра и музыки.

Гости возбужденно разговаривают, много курят. На меня никто не обращает внимания. Хотя один из них — Василий Саныч — мой приятель, от которого мне часто перепадает кулечек с гостинцами. Василий Саныч сидит рядом с мамой, часто наклоняется и целует ей руки. Меня терзает ревность. Ну и ладно, не любит она меня — и пусть! Вот запишемся оба с папой на войну, тогда она посмотрит...

Гости уходят. Мама долго-долго стоит с ними в коридоре, и до меня доносится ее ласковый, грустный голос. Папа тоже там. Я чувствую себя одинокой, покинутой. Почему маму не отпускают? Рассердившись, выскакиваю в коридор. Но там уже никого нет, все на лестничной площадке, никак не могут распротиться. Мужчины спускаются вниз — их голоса уже похожи на эхо:

— Д-о-сви-и-и-да-а-а-нь-я-а-а-а!..

Мы живем в самом сердце старого Ленинграда — на Васильевском острове.

Он вдоль и поперек прочерчен прямыми, ясными магистралями — линиями и проспектами. Наш большой серый шестиэтажный дом — на углу Малого проспекта и Пятой линии. Окна у нас высокие, узкие, с широкими, похожими на лавки, подоконниками. Мое любимое занятие — забраться с ногами ни подоконник, приплюснуть нос к стеклу и высматривать, что происходит на улице.

Иногда мне кажется, что никакой войны нет.

Удивительно теплая, золотистая стоит в Ленинграде погода. Булыжные мостовые, как обычно летом, политы водой. Единственная непривычная деталь — из булочной, что прямо под нами, без конца выбегают женщины, нагруженные батонами. Они несут их охапками, как дрова. Длинные, белые, аппетитные батоны с поджаристыми коричневыми бороздками. Но зачем покупать их столько сразу?

Наши соседи по квартире тоже тащут батоны. По вечерам в кухне, несмотря на теплынь, топится большая плита. Все сушат в духовке сухари: делают запасы. Только мы не сушим. Одна из соседок — Агния Степановна — говорит авторитетным голосом:

— Ольга такая непрактичная...

Но мне совсем не кажется, что мама такая уж непрактичная. Ведь в нижнем ящике резного бабушкиного буфета у нас хранятся целых два килограмма чечевицы! Этот неходовой продукт, когда-то купленный по случаю и ранее никем не употреблявшийся, сейчас в семейных разговорах фигурирует как прочная основа нашего военного быта.

— В детстве мне варили чечевичную кашу. Поразительно вкусно! — говорит папа. — А сколько калорий! Я где-то читал, что один человек, который ел чечевицу, прожил до ста четырех лет. А одна знакомая девочка...

— Которая ела чечевицу, — подхватываю я и подмигиваю маме, — всегда вовремя ложилась спать.

Мама улыбается: мы понимаем друг друга. Ох уж эти бесконечные папины истории про «одну знакомую девочку»!

Но шутки шутками, а чечевица и в самом деле внушает нам некоторую уверенность в будущем. Есть и другие припасы: банка натурального

черного кофе и кулечек крахмала. И еще есть энзе — неприкосновенный запас. Меня завораживает красивое слово «энзе». Я стараюсь почаще употреблять его в разговоре. Пристаю к маме:

— Давай посмотрим наше энзе!

И когда мама свободна, она поддается на эти просьбы. Из буфета извлекается маленькая матерчатая сумочка, розовая, вышитая крестом, на молнии. В ней, аккуратно упакованные и перевязанные ленточками, лежат пакетики, похожие на новогодние подарки. Это плитка шоколада «Наша марка», несколько тубиков витамина «С» и три засохшие сдобные булочки с изюмом. Мама бережно перебирает содержимое энзе. Папа утверждает, что мы молодцы, — хорошо подготовились к войне.

Однажды я не выдерживаю и рассказываю о нашем замечательном энзе на кухне соседям. Но эффекта — никакого. Соседи только пожимают плечами.

— Хоть бы о ребенке подумали, — говорит Агния Степановна.

Новые заботы

Появилось много новых забот. Мама снимает с окон красивые тюлевые занавески.

— Вот тебе газеты и ножницы, вырезай бумажные полоски во-от такой ширины, — говорит мама. — А я буду наклеивать.

Она забирается на подоконник и лепит на стекла газетные ленты, предварительно смазав их клейстером.

— Это теперь такая мода? — осторожно спрашиваю я.

— Мода? — мама тяжело вздыхает. — Нет... Это просто война. Бумажные ленты укрепят стекла. И если немцы начнут нас бомбить...

— Бомбить?

Я лишь смутно догадываюсь о значении этого слова. Да это и немудрено — ведь война пока длится всего несколько дней, и в Ленинграде еще тихо.

— А когда?

— Что — когда?

— Бомбить начнут? Мы увидим, как бомбят, да? Ты мне покажешь?

— Не дай бог, — глухо отзывается мама. — Не дай бог... — И вдруг меняет тон: — Ну, как там у тебя с вырезками?

Неважно у меня с вырезками. Мне стало скучно фабриковать однообразные полоски, и я принялась резвиться: из-под ножниц полезли длинноногие и длиннорукие человечки, сплетенные в хороводы.

Сперва мама сердится:

— Работай серьезно!

Но потом вдруг забирает у меня ножницы и сама вырезает... вереницу чертей. Мы обе смеемся, и новоиспеченные человечки вперемешку с бесенятами украшают стекла сверху донизу.

— Как ты думаешь, вылетят окна или не вылетят? — спрашивает меня мама, окидывая придирчивым взглядом нашу совместную работу.

— Теперь нет, — убежденно говорю я. — Не вылетят. Во-он их сколько чертей держит!

Но мама не откликается на шутку: у нее сегодня уйма дел. Надо еще сшить и приладить к окнам черные матерчатые шторы. Это тоже теперь самая модная ткань. По маминой просьбе моя двоюродная бабушка — мы все называем ее тетя Юля — выкрасила в черное несколько наших простынь. Со шторами нужно спешить. Вчера вечером к нам уже являлся

управдом и пригрозил какими-то страшными карами, чуть ли не расстрелом, если мы немедленно не зашторимся.

— Из-за вашей неосознанности немец весь Васильевский разнесет! — сказал он.

Мама клянется управдому, что к завтрашнему дню затемнение будет в полном порядке.

...Ко мне прибегает возбужденная Ирочка.

— Ленка, слышала? Наш садик копают! Бежим туда?

Садик копать? Для чего?

— Ну как ты не понимаешь? — презирает меня Ирочка (она старше меня на год и уже ходила в первый класс). — Такие канавки роют, чтобы туда прятаться, в случае чего.

Не очень-то мне все это понятно, но я с готовностью достаю свою игрушечную лопаточку и ведерко.

— Пошли!

В нашем любимом сквере, на углу Седьмой и Восьмой линий, где все василеостровцы, живущие в этих местах, последовательно прогуливались — сначала в колясках-мальпостах, потом держась за подолы бабушек и нянюшек, затем бегали сами — в догоняшки, — по тополевым аллеям кипит работа. Толпы людей орудуют лопатами, на глазах превращая клумбы и газоны в длинные, зигзагообразные рвы. Комья земли так и летят градом, образуя высокие насыпи...

Мы с Ирочкой молча пристраиваемся к ближайшим землекопам и вонзаем в песок свои голубые жестяные лопаточки.

Бомбежка

А через некоторое время нам довелось узнать, что такое бомбежка.

Вечер. Мы только что напились чаю. Мама ушла в ванную. Папа делает первую попытку, как он выражается, «затолкать меня в объятия к Морфею». Я тяну волынку, завожу всякие необязательные разговоры, без конца расплетаю и заплетаю себе на ночь косички, капризничаю. Благо мама все равно этого не видит. Наконец, папа идет на хитрость: он укладывает в мою кровать большого сивого плюшевого медведя — Мику — и укрывает его одеялом по самый его кожаный нос.

— Раз эта скверная особа меня не слушается, ложись, Мика, ты. Мы сейчас выставим ее за дверь, а сами... — Папа звонко шепчет в круглое Микино ухо, — сами будем читать друг другу стихи. Идет?

Мика сообщнически смотрит на папу круглым рыжим стеклянным глазом. И я вдруг страшно обижаюсь. Мне кажется, что Мика вероломно предает нашу старую дружбу.

А дружба у нас действительно старая. Мика мой ровесник, его покупка была приурочена к моему рождению. Сначала он был много выше меня ростом, а теперь я его давно уже перегнала. Когда-то Мика был темно-коричневого цвета.

«Посивел» он после того, как я, года четыре назад, вознамерилась его... побрить. Бреется же папа? А Микин плюшевый ворс так похож на отцовскую щетину! Когда я уже намазала медведя с головы до пят густым мыльным кремом, на пороге комнаты возникла мама...

Мишку долго отмывали и отпаривали в горячей воде: оказывается, вместо мыльной пасты в тюбике оказался жирный ланолиновый крем... С тех пор медведь и утратил свой изначальный медвежий цвет и четкость форм. Но от этого я еще больше к нему привязалась.

Я уже совсем было собралась выдворить Мику и сама залезть под одеяло, как вдруг в стену раздается отчаянный громкий стук. В квартире хлопают двери. Кто-то стремительно проносится по коридору в сторону кухни. Я слышу испуганный, визгливый фальцет Ирочкиной матери — Агнии Степановны:

— Комаровские!!! Вы с ума сошли? Вы что, ничего не слышите? Немецкие самолеты! Бегите! Мы уже побежали!

Папа бросается к репродуктору. Ну, конечно, он у нас выключен — держать радио день и ночь включенным мы приучились не сразу. Комнату

наполняет оглушительный вой сирены.

Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Папа кидается гасить лампу и открывает окно. Становится отчетливо слышен нарастающий зловещий гул. Кажется, что он нависает прямо над нами, над головой. В квадрате окна я вижу косые столбы беспокойного света, шарящие по небу, и высоко-высоко над домами какие-то быстро исчезающие созвездия ярких вспышек.

— Папа, я боюсь!

Отец хватает меня в охапку и вместе с одеялом тащит в коридор.

— Ольга! — кричит папа, барабаня ногой в закрытые двери ванной. Но из-за плеска воды мама ничего не слышит. — Ольга!!! Бомбят! Все бросай!

Вниз! Немедленно! Ленка со мной! Ты слышишь?!!

Мама наконец выходит. У нее растерянное лицо. Руки — в мыльной пене.

— В чем дело? Почему такая паника?

— Беги в подвал! — не унимается отец. — Самолеты!

— Мамочка! — я тоже начинаю кричать, как и все вокруг. — Мамочка!

Там, в комнате! Мика остался! Возьми его! Мама!

— Никаких Мик! — выходит из себя отец. — Сейчас же вниз! Обе рехнулись!

Но мама уже убегает в комнату и возвращается с медведем и розовой сумочкой с нашим энзе. Она редко теряет самообладание.

Вчетвером мы проталкиваемся на лестничную площадку. Именно проталкиваемся, потому что лестница забита людьми. Оскользаясь на крутых, стершихся ступеньках, они беспорядочно низвергаются вниз. Полуодетые, в шлепанцах, с узлами, тюфяками, чемоданами в руках... Давка, вопли. Ревут дети, кряхтят и стенают старики. А может быть, — больные? Чугунные перильца прогибаются от натиска, того и гляди не выдержат...

В подвал ведет узкая-узкая дверь. Скорее даже не дверь, а какой-то кошачий лаз. Там — просто смертоубийство. Наконец нам удается проникнуть в сырой лабиринт дровяных клетушек и кладовых. Под ногами чавкает (вода, пахнет гнилью, мокрыми опилками. Сесть негде, притулиться негде... В нашем доме еще не успели оборудовать укрытие по всем правилам.

Мы стоим, прижавшись спинами к занозистым рогатым переборкам. Папа устал держать меня на руках и, плотно подоткнув с боков одеялом, поставил пятками на свои собственные ноги. Мама дышит где-то рядом, хотя ее не видно.

Тьма вокруг — крошечная.

Внезапно мы слышим ужасающий хруст. Такое впечатление, как будто наш дом забрали в гигантские щипцы для орехов и мощно надавили на рукоятки.

Стены подвала содрогаются. Папа крепко прижимает меня к себе.

— Нас завалило! Завалило! Завали-и-ло-о-о! О-о-о! О-о-о! — истерически завывает женский голос.

— Прекратить панику!!! — властно приказывает мужской. — Прекратить!

Все спокойно остаются на своих местах. Там разберемся!..

Через час мы выкарабкиваемся из подвала. Налет кончился.

Наш дом цел, но, говорят в толпе, бомба угодила в соседний, по Малому проспекту. Выйдя на улицу, мы видим, как от Невы, с Третьей линии, заворачивает в нашу сторону карета скорой помощи...

— Идем скорее домой, — говорит папа. Он опять держит меня на руках.

Конец одеяла, весь в грязи, волочится по земле...

— Какой ужас! Нет, какой ужас! — говорит папа. — Оля! И ведь это только начало. Нас всех перебьют!

У мамы грозное, решительное лицо. И такой же голос:

— Больше я такой паники не допущу. В подвал больше — не пойду.

Потом мама включает настольную лампу и садится на диван: пришивать Мике оторванное ухо.

Вороненок Варенька

Бомбежки входят в ленинградские будни. Бомбят каждый день, когда утром, когда ночью, а когда и среди бела дня. Мы уже не испытываем такого, как в тот, первый раз, ужаса. Теперь чаще всего, заслышав противный вой сирены, мама, как ни в чем не бывало, отправляется готовить на кухню или продолжает вышивать своим любимым швом «ришелье» очередную салфетку.

Если случается дома папа, он кипит:

— Ты просто сумасшедшая! Фаталистка! Нельзя же так! Сейчас же обе марш в бомбоубежище! Что я сказал! Это плохо кончится!..

Мама отмалчивается, а я, чувствуя в ней поддержку, пускаю в ход обычные подтрунивания над отцом.

Тогда отец сгребает красные бархатные диванные подушки, старые пальто с вешалки, вытаскивает в коридор мягкое кресло и, завалив меня всяким тряпьем, победно усаживает рядом.

— Па-а! Ну зачем? Пусти, мне жарко! Ну пусти же!

Папа страшно сердится:

— Сиди! В жизни не видал таких глупых девчонок! Потом смягчается:

— Эх, Ленка, Ленка! Ни за кого не боюсь так, как за тебя. Неужели ты не понимаешь?

Но я больше понимаю маму. Хотя она и фаталистка, то есть, считает, что «чему быть — того не миновать».

Иногда, под непрерывающийся гул и грохот, мама рассказывала мне сказки.

Особенно мне нравилась одна — про Вороненку Вареньку. Жалостливая история про неразумного птенца, который, издали любуясь веселой кухонной суетой, жарко кипящими котлами и полыхающим огнем, мечтал окунуться в эту бурную жизнь. И, конечно, по своей великой наивности, Варенька угодил под острый блестящий нож повара и был сварен в супе. Эта несчастная судьба меня трогала до глубины души. Интерес, сочувствие, страх за Вареньку заставляли меня забывать обо всем остальном на свете. Мама так хорошо рассказывала!

Настрадавшись за вороненку, я, в виде утешения, получала сладкую таблетку витамина «С» из заветного энзе.

Тревога же тем временем кончалась.

Мы ищем ракетчика

Дома — переполох. И отец, и мама одновременно уезжают на оборонные работы: он — под Нарву, она — под Новгород. Возникает масса вопросов: во что одеться? С кем оставить меня? Решено, что отец наденет дедушкино, выдавшие виды, драповое пальто, а мама обуется в пьексы. Сейчас уже никто не знает, что такое пьексы. А это были такие легкие, кроенные из цельного куска кожи, сапожки с круто загнутыми вверх носками — в них катались на лыжах.

Особых спортсменов в нашей семье не водилось, но пьексы — были. Если заpastись шерстяными носками, для окопов будет в самый раз. О нудных, обложных дождях, которыми заканчивается прибалтийское лето, никто почему-то не вспомнил, хотя они неотвратимо надвигались.

Меня оставляют с тетей Юлей. Сложив в котомку вязанье, она перебирается к нам со своей Восемнадцатой линии. Бедная тетя Юля, ей предстояли нелегкие дни!

Я умею ладить с папой, изрядно побаиваюсь мамы, но тетя Юля!.. С ней я вытворяю все, что мне взбредет в голову. Она совершенно неспособна мне в чем-либо отказать. Ее пенсионные сбережения так и летят на малейшие мои прихоти. Из петушков на палочке, которые она мне покупала до войны на Среднем проспекте, можно было бы составить целую петушиную армию и выстроить ее по всей Пятой линии — аж до самой набережной Невы! А яблочки в глазури?

А барбариски? А подкидные шарики на длинных резинках? Уй-юй-юй-юй!

Естественно, я совсем ее не слушаюсь. И, проводив родителей, предвкушаю полную свободу.

Мы подолгу шепчемся в темной прихожей с Ирочкой. Она приносит вести из внешнего мира, поскольку чаще бывает во дворе и общается со своими одноклассниками. В городе много таинственных происшествий. Например, говорят, появились в изобилии немецкие шпионы и ракетчики.

— Видела ракеты? — спрашивает Ирочка.

Я не видела, но на всякий случай неопределенно киваю головой.

— Представляешь, он сидит на крыше и караулит. Услышит, немецкий самолет летит — и сразу запускает в небо из пистолета такую как бы электрическую лампочку. Зеленую или красную. Она подвешивается...

— Где подвешивается? На небе?

— А то где же?

— А на чем подвешивается? На звездочке?

— Что ты пристала? Не мешай рассказывать. Ну, эта лампочка горит и все вокруг освещает. И фашист видит, где чего бомбить.

— И нас с тобой может увидеть?

— Конечно! А еще этот ракетчик заводит патефон, чтобы не слышно было, как он выстреливает. Так что услышишь громкую музыку, знай: это ракетчик.

Буду знать.

...Малый проспект неширок. Высунувшись в форточку, подозрительным глазом осматриваю фасад дома напротив. Дом трехэтажный, и наши окна как раз на уровне его крыши. Про этот дом папа часто, с оттенком восхищения в голосе, говорит:

— Чистейший ампир!

И пространно объясняет мне, что ампир — это такой архитектурный стиль, который любили в прошлом веке за чистоту и благородство линий.

Дом и в самом деле красив — спокойный ряд окон, низкая, глубокая, затянутая чугунной решеткой, подворотня. (В Ленинграде подворотней называют каменный тоннель, прорезающий толщу дома и ведущий во двор). Но сейчас этот самый ампир кажется мне опасным пристанищем ракетчиков. Вот в чердачном окошке мелькнула какая-то тень. Шпион! И музыка, музыка играет! Я же слышу!

Скатываюсь с подоконника и опрометью, мимо растерявшейся тети Юли, кидаюсь в коридор.

— Ирка! Ирка! Я видела! Он — там! И патефон!

Не успевает тетя Юля опомниться, как мы с Ириной вылетаем на улицу, в несколько прыжков пересекаем Малый и устремляемся вверх по какой-то лестнице. Мелькают ящики с песком, огнетушители, синие ведра, прыскают в стороны испуганные кошки, и наконец — дверь на чердак! Теперь он от нас не уйдет! Дети могут поймать шпиона не хуже взрослых — нам же читали, мы в кино видели! Надо только поднять побольше шума, чтобы все сбежались на помощь. Дверь заперта. Закрылся изнутри! Проклятый шпион! Мы барабаним по доскам изо всех сил, отчаянно вопим и стучим ногами. Из квартир высыпают испуганные жильцы — ребята, старики.

— Он на чердаке, с музыкой! Скорее!

...Самое удивительное, что к этой панике отнеслись серьезно. Пришла дворничиха, открыла чердак, и целая толпа тщательно обследовала все закоулки, а один паренек даже вылез на крышу и, козырьком приложив

ладонь ко лбу, обозрел все пространство вокруг. Но ракетчика не нашли.
Наверное, он все же успел удрать.

Закон Паганини

Из-под Нарвы возвращается папа — обросший черной бородой, осунувшийся и потому кажущийся еще более высоким, чем обычно. Ничего не рассказывает, пьет много чаю и однажды, чуть виновато, просит тетю Юлю:

— А что, если сварить немного чечевицы?

«Голодный он, что ли?» — думаю я с недоумением. Мне чувство голода пока еще неизвестно, — тетя Юля по утрам продолжает насильно пичкать меня завтраком. Правда, ненавистного кефира уже нет, но появились какие-то противные серые лепешки.

— Хорошо, что я обойную муку вовремя припасла, — радуется тетя Юля.

— Никто не брал, а я взяла. Комнату хотела обоями оклеить. Как в воду глядела...

А мамы все нет. Я скучаю по ней. Папа сильно встревожен. Он уже звонил к ней в институт, но толку никакого не добился. Там — все на окопах. Придя с работы (папа — чтец, преподаватель художественного слова), он сразу же снимает с полки свою скрипку и начинает без конца выводить на ней один и тот же пассаж:

— И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у... И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у.

Меня берет тоска.

— Папа, хватит! Папочка, что-нибудь другое!

Но папа с непреклонным упрямством продолжает «пиликать». Я понимаю, что скрипка помогает ему не думать о том, что мамы все еще нет дома и, заткнув уши, покорно усаживаюсь на подоконник. Начинается бомбежка. Заканчивается бомбежка.

— И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у...

Ох, уж эта скрипка! Было время, когда папа играл по пять часов подряд — целыми вечерами. В конце второго часа у мамы решительно «пропадало настроение».

— Надо же и о других немного подумать, — раздраженно говорила она.

Но папа о «других» не думал. Он думал о том, чтобы открыть закон Паганини, тощего, косматого итальянца с дьявольским выражением узкого лица, портрет которого стоял у нас на письменном столе.

Когда папа рассказывал мне о Паганини, он всегда понижал голос до

шепота, как будто нас кто-то собирался подслушивать:

— Это был величайший в мире скрипач. Он играл с такой потрясающей виртуозностью, что люди думали — ему помогает нечистая сила.

— Баба-яга?

— Чудачка! Но на самом деле ему никто не помогал. Просто, — тут папа совсем переходил на шепот, — у него был свой закон.

— Какой?

— Особый закон: как работать пальцами, держать смычок. И я его открою!

Я уже близок к этому. Мать твоя не верит, но я обязательно его открою! Вот увидишь.

А я и не сомневалась, что папа своего добьется. И от всей души желала ему успеха. Ладно, пусть уж пилит, если ему необходимо.

— И-и-и-и-ы-ы-ы-ы-у-у-у-у...

Вдруг папа опускает скрипку и говорит странную фразу:

— По закону Паганини она должна сегодня вернуться! Должна.

...Глубокой ночью раздается звонок. Мама! Вся в грязи, с опухшим лицом, с жалкими остатками пьексов на ногах, с израненными руками — нежные ладони покрыты кровоточащими волдырями. Мне не дают обнять ее, пока она не примет ванну. В ожидании я снова засыпаю.

— Немцы... Немцы... Немцы... — слышу я сквозь дрему мамин голос. — Всюду немцы... немцы... немцы...

Немцы

По-немецки я знаю только три слова — айн, цвай, драй. И хотя мне ведомо, что Германия — это большая страна, что в ней живут миллионы разных людей, мое представление о немцах складывается только из двух конкретных образов — Каспара Шлиха, героя детских книжек Вильгельма Буша о Максе и Морице, и одного нашего знакомого по фамилии Диц.

Каспар Шлих — толстый тугодум в надвинутой на самые глаза шляпе, с трубкой в зубах.

Каспар Шлих, куря табак,
Нес под мышкой двух собак...

Владельцы этих собак, озорники Макс и Мориц, без труда вытворяют над простодушным Каспаром всякие дерзкие штуки.

Диц — у нас ласково звали его Диценька, — чрезвычайно походил на Каспара Шлиха. Даже шляпу так же надвигал. Он приходил к нам раз или два в месяц, вытаскивал из кармана молоток, кучу крошечных гвоздиков, обрезки кожи и резины и садился починять мои туфлишки и мамины босоножки. Он был сапожник, старый приятель бабушки. По-русски Диц говорил с акцентом. Я слышала от старших краем уха, что он — латыш, из Риги, но все равно считала его немцем. Раз похож на Каспара Шлиха — значит немец.

Дица я очень любила и ждала его визитов. Постукивая молотком, он рассказывал мне всякие истории, а потом шептал:

— Я там, в коридор, кажется, приносил маленький пакетик...

Диценька и Каспар Шлих — симпатичные, немного смешные добряки. Немцы.

Однако те, кто швыряет на Ленинград бомбы, — тоже немцы! И те, которые гнались за моей мамой от самого Новгорода, — тоже. И мама пуще смерти боялась попасть к ним в лапы, к этим разбойникам. Она так и сказала мне наутро после своего возвращения — «лапы», «разбойники». Мое воображение работает с невероятной быстротой. Я рисую себе страшные картины: толпа вооруженных до зубов бандитов, красные платки на головах, искаженные гримасами лица.

— Во дворе говорят, немцы скоро Ленинград возьмут, — сообщает

Ирочка.

Возьмут? Я настолько потрясена этой вестью, что убегаю к себе в комнату, отгораживаюсь от тети Юли диванным валиком и долго сижу молча. Надо осмыслить, обдумать, что-то решить для себя.

Немцы возьмут Ленинград!..

Я вижу затихший город. По гулким линиям Васильевского острова сомкнутыми цепями, как белые, которых я видела в кинофильме «Чапаев», двигаются немцы, выставив вперед когтистые лапы и оскалив хищные зубы. Один, самый отгаликивающий, командует:

— Айн, цвай, драй! Айн, цвай, драй!

Немцы всасываются в подворотни, в подъезды, выламывают двери квартир.

Господи, куда же деваться от них?

Куда спрятать тетю Юлю, маму, папу? Взрослых можно распахать по шкафам, а сама я протиснусь под диван. Ноги вот только будут торчать... Найдут! Все равно найдут.

А если не прятаться, а присесть за дверь — и — бэммс! — первого же гада сковородкой по голове? И второго, и третьего — всех подряд? Да еще каждому жильцу по сковородке в руки! Это уже какой-то выход. Но страх не проходит. Стучусь к Ирочке. Она тоже задумчива.

— Врут во дворе, — с надеждой говорю я.

— Конечно, врут, — охотно соглашается Ирочка. — Паникеры они, вот и все.

Нам становится легче.

В следующее воскресенье приходит Диц. Я бросаюсь ему навстречу.

— Сними скорее шляпу! И перчатки!

Тащу старика в комнату, к свету. Внимательно изучаю его лицо, руки, — они у него большие, с темными короткими ногтями. И громко кричу, чтобы тетя Юля — она на кухне — слышала:

— К нам дядя Диц-латыш пришел!

Мы остаемся

Незадолго до начала войны отец упал с трамвайной подножки и сильно ударился спиной. Теперь у него часты приступы острой боли в позвоночнике.

Медицинская комиссия военкомата, куда папа побежал в первый же день войны, после осмотра отправила его домой.

Но папа снова упрямо собирается на войну. Я мало огорчена. Даже рада.

Ведь не даром же к лацкану папиной старой, выгоревшей летней куртки приколот значок «Ворошиловского стрелка». Он заслужил его в летних военных лагерях года три назад. Я этим значком давно горжусь. Ирочка мне нескрывая завидует. И теперь я ликую — уж кто-кто, а «Ворошиловский стрелок» фашистам покажет! Он ведь бьет без промаха.

Я помогаю собирать отцу рюкзак. Мама торопливо пришивает пуговицы. Но вдруг застывает неподвижно, опусти руку с иголкой. Я с удивлением вижу, что она плачет.

Хм. Надо, пожалуй, заплакать и мне. Реву. Мама моментально вытирает слезы и вновь принимается за пуговицы.

...Отец так и не попал на войну. Его снова не приняли — уже категорически: дали какой-то «белый билет». Он вернулся вечером, швырнул в угол рюкзак и «залег» на диван, что всегда бывало скверным признаком. Мама сварила ему крепкий чай и — небывалый случай! — на небольшом подносике подала прямо «в постель». Вообще-то она нас не баловала...

Через пару дней отец, запыхавшись, вбежал в комнату и бросил на стол две бумажки.

— Ольга и Ленка, мигом собирайтесь! Полчаса на сборы. Только самое необходимое. И энзе, энзе, главное, не забудьте.

Мама подняла глаза от своего шитья: Что? Куда?

— Ну, что ты рассиживаешь? Эшелон через два часа. Билеты достал с огромным трудом. Эвакуация заканчивается — идут последние поезда. Там черт знает что творится. Давай, давай, поживее! Я помогу. Поедете обе. Я остаюсь.

Мама даже бровью не повела — похоже, что ответ был готов у нее заранее.

— Ни-ку-да я не по-еду. Здесь родилась, здесь и умру — понимаешь?

Если будет такая судьба.

Отец долго горячится, даже стучит кулаком по столу:

— Твой вечный фатализм! Ленка, хоть ты уговори свою невозможную мать!

Но я целиком на стороне своей невозможной матери.

Итак, мы остается. Это решено.

Папа уходит в другую комнату, хлопнув дверью.

Несостоявшаяся премьера

Папы нет дома. Он дежурит в своем Доме художественной самодеятельности — был такой дом в Ленинграде. Мы с мамой одни. Окна плотно зашторены. Горит настольная лампа. Выполняя свое давнее обещание, мама помогает мне сооружать кукольный театр. Картонная коробка из-под туфель приспособляется для сцены. Из зеленой бумаги мы вырезаем деревья с аккуратными круглыми кронами и прилаживаем их на первый план. Дело происходит в лесу. На «задник» идет кусок голубой тетрадной обложки. Это — небо. Затем склеиваем домик и принимаемся лепить из пластилина действующих лиц — Козу и семерых козлят, а также зубастого серого волка. Когда у волка уже начинают прорисовываться острые уши, меня осеняет идея: вместо волка надо лепить... немца. Он страшнее. Мама, подумав, соглашается с такой современной трактовкой старой темы. Спектакль у нас теперь будет называться «Фриц и семеро козлят».

Начинаем репетицию. Мама — она сначала за Козу — поет заботливым голосом:

— Детушки, козлятушки! Я в лес пошла, молочка вам раздобуду. А вы, сделайте милость, сидите тихо и никого, никого к себе не пускайте.

Ха-ха! За молочком! Интересно, где она возьмет молочка? Его уже давно нигде нет, и я забываю понемногу его сытный, сладковатый вкус.

Впрочем, ведь у нас — сказка...

Я — сразу все семеро козлят. Пищу на разные лады:

— До свиданья, мамочка-коза! Счастливого пути! Не волнуйся, детушки-козлятушки тебя будут слушаться.

Как жалко, что папа отсутствует! Он сыграл бы нам фрица. Тут ведь нужен грубый мужской бас, который неумело маскируется под козлячий дискант. За эту неприятную роль берется мама. Она стучит по столу — то есть в дверь к наивным семерым козлятам — костяшками согнутых пальцев: тук-тук-тук! Тук!!

Тук!!! Шум все громче, фриц уже ломится в избушку, уже трещат под его напором замки...

Какой ужас! Мои семеро козлят вдруг обнаруживают себя отчаянными трусами. Попасть в лапы к немцу?! Нет! Ни за что! Слезы у меня сами собой наворачиваются на глаза, я кидаюсь к маме и прячу голову у нее где-то под мышкой.

— Что ты, Аленка? Вот глупенькая!

— Мамочка, не надо, не надо больше! Не говори немецким голосом!

— Тихо, малышка, тихо...

Не состоялась наша премьера!

Ночное зарево

Первые числа сентября. Еще очень тепло. Деревья в перекопанном садике на Седьмой только чуть-чуть утратили свою яркую летнюю зелень — на тополях лишь кое-где проглядывают поржавевшие листочки. Ночи стоят душные.

В одну из них мы просыпаемся от грохота. Налет. Ну что ж, нам уж не привыкать. Папа, правда, делает слабую попытку спровадить нас в бомбоубежище, но мама поворачивается на другой бок и притворяется спящей. Я корчу отцу рожицу, за что получаю легкий шлепок — для проформы.

Разрывы бомб все учащаются. Дом то и дело сотрясает. Вой сирен, гул самолетов... Наши? «Мессершмитты»? Слышно, как сухо и отрывисто рывкают зенитки — зенитные батареи неподалеку от нас, на набережной Невы.

— Ну и ночка, — говорит папа.

Погасив свет, он отворачивает краешек черной шторы и выглядывает на улицу. Темная комната сразу же озаряется тревожным багровым светом.

— Оля, поди-ка сюда, — торопливо зовет папа. — Смотри! Я еще такого не видел!

Мама, а за ней и я, обе в ночных рубашках, спешим к окнам. Что творится над Ленинградом! Боже мой! «Дальнее» небо охвачено каким-то мощным заревом.

Крыши соседних домов на его фоне прорисовываются фантастическими контурами.

— Что-то небывалое, — потрясенно говорит папа. — Просто невероятное что-то.

Утром, через открытые окна, в квартиру врывается странный запах.

Как-будто неподалеку варят — и они все время пригорают — сахарных петушков на палочке. Соседи собрались на кухне. Кто-то из них уже принес из булочной страшную новость: горят Бадаевские склады. Знаменитые Бадаевские склады, где город хранит почти все свои запасы продовольствия.

— Запах-то, слышите? — нарушает общее молчание Ирочкина мама. — Это сахар горит.

— Что будет? — подавленно вопрошает тетя Юля. На этот вопрос никто не может ответить...

А вскоре на свет выплывает и становится реальностью слово «блокада».

Ленинград окружен врагами.

Где учительница?

Меня определяют в школу. По-деловому, без всяких торжественных приготовлений. Школа — за углом, в подвале громадного студенческого общежития. Первые и вторые классы рассаживают шеренгами за длинными крашеными столами, в одном помещении, — школа не настоящая, а военная, в бомбоубежище. Мы, ребяташки, это хорошо понимаем и сидим смиренно.

— Дорогие дети, поздравляю вас с началом учебного года, — приветливо говорит учительница. — Давайте начнем...

Наутро, усердствуя не опоздать, мы, первоклашки, спешим в школу пораньше. Но что это? Из низких подвальных окон валит черный дым, у входа мечутся взрослые. Прямое попадание...

— Идите, идите отсюда, ребята. Отправляйтесь по домам, здесь вам делать больше нечего.

— А где наша учительница?

Взрослые молчат, вглядываясь в клубы дыма.

Я так и не запомнила ни лица моей первой учительницы, ни ее имени.

Только голос ее вот уже четверть века слабо и ласково доносится до меня: «Давайте начнем...»

Соседи

Мое учение приостанавливается. Сижу дома. Скучно. Раньше я часто ходила играть к Ирочке, но сейчас меня почему-то стали выпроваживать оттуда и запирают двери изнутри на ключ. Ирочкино семейство — это «правые» соседи. У них большая комната, оклеенная темно-синими, с золотыми звездами, обоями.

Там много интересного. Есть желтая шкура полярного медведя. Зубастая голова беспомощно распростерта на паркете. Шкура обшита красным рюшем. За медведя обидно — такой красивый зверюга, с настоящими зубами и когтями — и вдруг оторочен ленточкой! Есть зеркальный шкаф, а в нем бархатное платье Агнии Степановны, которое Ирочка иногда разрешает мне посмотреть. Петр Яковлевич приходит домой поздно, и обе они целый день ждут и боятся этого момента. Он шофер в каком-то очень солидном учреждении и возит самого главного начальника. Красивая черноволосая Ирочкина мама вкусно готовит. Совсем недавно меня здесь часто угощали — то грибным супом, то клецками. Теперь угощения не дождешься. Правда, по Иркиным глазам я вижу, что она не прочь поделиться со мной обедом, но боится матери. Ну и ладно, и смотреть не буду, как они едят.

«Левые» соседи состоят из Паши, хромого архитектора, которого никогда нет дома, и Нюры, занимающей самую маленькую комнатку в квартире. Нюру у нас все немного остерегаются. Она носит креп-жоржетовую розовую блузку с бантом на груди, грубые белые носки. У нее сверкающие серебряные зубы и золотые сережки в ушах. К Нюре часто ходят гости. Тогда папа откладывает скрипку и со словами: «Теперь уж не поиграешь», — уходит в ванную проявлять фотопленки. Кроме скрипки, он еще увлекается фотографией. Нюра отличается тем, что ей ничего не стоит воспользоваться чужой кастрюлькой без спроса, таким же путем прихватить какую-нибудь тряпку или налить себе «нашего» чаю.

Мама снисходительно относится к этой Нюриной слабости. Агния Степановна намерена искать на Нюру управу.

Олады из кофейной гущи

Бадаевские склады, Бадаевские склады!..

Опустели полки гастрономов и булочных, мясных и бакалейных. Только на витринах по-прежнему, дразня аппетит, соблазнительно красуются бутафорские коробки шоколада, пирожные, торты, окорока, рыбины и муляжи розовых поросят, одетых в поварские колпачки. Поросята самоотверженно протягивают прохожим круглое блюдо с бежевыми свиными сосисками. Добродушная поросычья ухмылка сейчас воспринимается как издевательство.

Так же прочно, как обстрелы, входят в ленинградский быт продуктовые карточки. У родителей они — зелененькие, «служащие», у тети Юли — желтая, иждивенческая, у меня, розовая, детская. Новые карточки очень красивы — глянцеvitая плотная бумага и много-много аккуратных квадратиков, на которых чернеют цифры: 50, 100, 125, 150, 200, 300... Это — граммы: хлеба, сахара, крупы. Когда смотришь на новые карточки, кажется, что этих граммов — уйма.

Но когда «отоваришься» в магазине, то груз в кошелке почти невесом...

Карточки сразу становятся в нашем доме главной вещью. Их держат под ключом, в полированной дубовой — еще дедушкиной работы — шкатулке. Я не смею прикасаться к ним. Папа тоже не смеет.

Как-то совсем незаметно растаяла наша чечевица. За ней исчез крахмал.

Из него мама смастерила клейкие синеватые вареники. И я — завзятая капризуля и привереда — ела их и только нахваливала! Меня часто терзают запоздалые угрызения совести. Подумать только: до войны я отказывалась от котлет и жареной картошки! Часами, бывало, застревала за тарелкой.

Специально застревала. Чтобы дожидаться, когда взрослые уйдут на кухню мыть посуду. Они уходили, а я хватала котлеты — горячие! Румяные! Сочные!

Настоящие! Из мяса! — и запихивала их глубоко под диван. В квартире потом развелась масса мышей, диван, в поисках нор, отодвинули с места и, конечно, обнаружили мое преступление. Б-р-р-р! Страшно вспомнить, что тут было! И правильно! Так мне и надо. Жаль, что мало в углу держали!

Сейчас меня упрашивать уже не приходится. Мигом поглощаю свою

порцию, которая с каждым днем все меньше, и тут же снова зверски хочу есть.

Что приготовить на обед? На ужин? Из чего приготовить? Где взять ТО, из чего готовят обеды и ужины? Эти мудреные проблемы маме решать все тяжелее.

Бережно сохраняются редкие очистки от столь же редких картофелин. Отмытые и перемолотые, сдобренные остатками крахмала, очистки очень вкусны. Кофе давно уже выпит. Из кофейной гущи испечены черные-пречерные, горькие-прегорькие оладьи. Мы угощаем ими соседей. Ирочкина мама открывается наотрез — у них водится настоящая мука, они, как говорит папа, запаслись «прилично». Нюра — пробует.

И в ответ предлагает нам студня. Студень какой-то небывалый: мутный, грязного вида и очень пахучий, если не выразиться сильнее.

— Из чего это, Нюлочка? — опасливо спрашивает мама, отведав кусочек.

— Из чего, из чего! Из столярного клея, вот из чего, — смеется Нюра.

— А что? Все мясной дух.

И вручает нам волнистую коричневую пластинку клея. Ее нужно мелко крошить, залить водой и долго варить.

— Возьмите, возьмите, не стесняйтесь, мужика своего подкрепите, — щедро угощает Нюра.

Ведущие предметы

Я снова хожу в школу. Но уже в другую — вернее, в другое бомбоубежище.

Вставать приходится рано — в семь часов утра. Каждый день просыпаюсь с одной и той же мыслью: даст мне сегодня мама с собой в школу что-нибудь на завтрак или нет? Еще лежа в кровати, вижу, как она открывает буфет, достает розовую сумочку с энзе и долго-долго чего-то там такое перебирает, шуршит, выкраивает... Если признаться, в мамино отсутствие я не раз устраивала ревизии и наизусть знаю содержимое заветной сумочки — выкраивать уже, в сущности, не из чего.

— Вот, положишь себе в портфель, — наконец произносит мама и кладет на стол сверточек величиной со спичечный коробок. Что в нем? Впрочем, для меня это не секрет: краюшечка сдобной булки — такой сладкий-сладкий, вкусный-вкусный сухарик, и долька шоколада размером с почтовую марку.

— Съешь после третьего урока, — строго наказывает мне мама. — Слышишь? После третьего! Обещай мне.

Ну, конечно, после третьего! Делаю предельно честное лицо. А сама, торопливо заплетая косички, жду не дождусь, когда смогу выскочить на улицу и тут же, не добежав до угла, засунуть за щеку кусочек вожделенного лакомства!..

В школе сыро, холодно, темно, тесно, но шумно и весело. На перемене мальчишки пускают бумажных «мессершмиттов» и сами же расстреливают их из рогаток.

— Кх-кх-кх! Кх-кх-кх!

Это действует «зенитная батарея», которая расположилась в самом углу нашего класса-подвала. Зенитчики бьют без промаха.

— Ага, попался, гад! Ура! — упоенно кричим мы, торжествуя победу.

Многим из нас уже приходилось наблюдать воздушные схватки в ленинградском небе, и мы в этом кое-что смыслим.

Ведущих предметов у нас в школе два: МПВО — местная противовоздушная оборона и противогаз. Мы уже знаем, как тушить зажигательную бомбу.

Например, стоишь ты на крыше своего собственного дома, глядишь в небо. Вдруг на тебя летит «зажигалка». Ни в коем случае не теряйся. Хватай в одну руку специальные щипцы — их на чердаке полным-полно, а

в другую — фанерный щит.

И — боком, боком, как во время игры в «петушки», приближайся к этой заразе.

Хоп! Зажимай ее хвост щипцами — и прямо в бочку с водой! Она пускает шип по-змеиному, вода брызжет в разные стороны, но ты ничего не бойся: самое страшное уже позади.

Мы с увлечением репетируем поединок с бомбой. Особенно здорово получается у Вольки Скворцова, разудалого парнишки с дерзкими глазами. Я немного побаиваюсь Вольки, хотя втайне восхищена его лихостью. Он-то на меня — и это, разумеется, вполне естественно — ноль внимания.

Каждый из нас мечтает сразиться с бомбой и вымолить у родителей разрешение подежурить на крыше. Но это — увы! — не просто. Мне, например, папа прямо заявил, что всыплет куда следует, если я буду лезть не в свои дела. Мама на этот раз явно на его стороне. Хороши, нечего сказать! Сами все время дежурят на крыше — то по очереди, а то и вместе... И ведь что обидно — они-то необученные, а меня специально учили! В школе! И я даже «отлично» заработала — пятерку по-нынешнему.

С противогазом дела у меня похуже. Хвастать нечем. Но до чего же противен мне этот противогаз — п-ф-ф-ф-ф! Натянешь маску — серая скользкая резина безжалостно схватывает щеки и подбородок. Круглые очки-иллюминаторы моментально запотевают, дышать невозможно, длинный хобот-гармошка несуразно болтается, мешая повернуть голову... Но ничего не поделаешь — война.

Учитель Петр Константинович — маленький, совершенно лысый старичок — читал нам статью из «Ленинградской правды», в которой всем жителям города приказывается ходить по улицам с противогазами и нигде с ними не расставаться. Потому что немцы могут неожиданно применить ядовитые газы, и тогда все мы, если не научимся дышать через маску, задохнемся или захохочемся до смерти. Ходить с противогазом через плечо мне нравится — сумка защитного цвета придает бравый «военный» вид, а вот сидеть в маске сорок пять минут... Я потихоньку оттягиваю рукой резину у щеки и обеспечиваю себе приток воздуха. Однако Петр Константинович, невзирая на плохое зрение, сразу замечает мой маневр.

— Комаровская! Не пытайся меня обмануть, — скрипит Петр Константинович.

— Ставлю тебе неудовлетворительно (двойку, значит).

А вот Скворцов — отличник и по противогазу. Все ему легко дается!

Но в один из дней Волька не является на уроки. Его нет день, два, три, неделю... Мы скучаем без Вольки, даже Петр Константинович скучает. Он

каждый день спрашивает у нас:

— Что такое со Скворцовым?

Но мы еще мало знаем друг друга, и никто ничего про Вольку не слышал.

— Надо его навестить, — решает учитель. — Кто со мной?

Желающих много.

Волькин дом — на Среднем проспекте. Шестиэтажный, серый, похожий на наш. Таких домов много на Васильевском. Мы все звоним, нажимая по очереди белую фарфоровую кнопку звонка. Долго никто не отпирает. Наконец, дверь полуоткрывается. В прихожей мгла, и мы не сразу различаем на пороге маленькую фигурку. Это малыш лет пяти, видимо Волькин братишка.

— Здравствуй, — вежливо говорит Петр Константиныч. — Мы пришли узнать, почему Воля не приходит в школу. Он болен?

Мальчишка отвечает не сразу. Он не произносит букв «р» и «л».

— А Вою мама похоониа...

— Что?! Не может этого быть!!!

— Похоони-аа, — тянет мальчуган. — Он зажигауку тушиу... Его обожго сийно...

Петр Константинович прикрывает глаза рукой.

— Идите, друзья, по домам... Идите, — каким-то вдруг очень тоненьким голосом говорит он нам. — А я подожду Волину маму.

Робинзон Крузо

Недолго я ходила в новую школу. Через неделю после потрясшей нас всех Волиной гибели нам объявили, что занятия прекращаются, а когда начнутся снова — известят особо. Убирается в шкаф моя гордость, моя радость — новенький портфель из свиной кожи с блестящими металлическими «уголками» и замочком — папин подарок на мой прошлогодний день рождения.

— А тетради и книжки оставим на письменном столе, — говорит мама.

— Зачем?

— Будем продолжать учиться.

С этих пор каждый вечер два-три часа отводится на арифметику, чтение, чистописание. Жизнь наступает трудная. У мамы — свои методы преподавания, снисхождение ей неизвестно. Растволковав мне задание, она уходит по своим делам на кухню или в другую комнату. И я не смею встать с места, пока не сделаю, что положено. Даже если встретилось непонятное, обращаться к маме за помощью — бессмысленно.

— Мам, мне не сложить эти циферки!

— Сложишь.

— Не могу.

— Тебе достаточно ясно все объяснили. Теперь изволь думать сама.

— Ну, мам!..

— Поломай, поломай себе голову. Потрудись. Не сдавайся.

Легко ей говорить! А мне совсем не хочется «ломать» себе голову.

Горькая слеза повисает у меня на ресницах, щекотно ползет вдоль носа и капает на тетрадку — образуется размытое лиловое пятно. Я надеюсь, что меня пожалеют. Но не тут-то было.

— Переписать!

— Я опять намажу.

— Значит, еще раз перепишешь.

Ох! Бросаю долгий взгляд на отца — ищу у него поддержки. Он беспомощно разводит руками, но сам украдкой мне подмигивает.

Чтение «внедряется» таким же образом, как и арифметика. Правда, тут я кое-что уже соображаю — по складам умею читать лет с пяти. Но как утомительно соединять эти слоги, если тебе надо прочитать не два-три слова, указанные доброй тетей Юлей, а целую страницу из толстой книги,

где, вдобавок, такой мелкий шрифт! Процесс общения с книгой не доставляет мне ни малейшего удовольствия.

Однако мама и здесь неумолима:

— Вот тебе книжка. Не выйдешь из комнаты, пока не прочитаешь пять страниц. Я запираю тебя на ключ. Через час вернусь. Расскажешь мне содержание.

Пять страниц!

Меня охватывает чувство обреченности. Тяну время, тоскую, по картинкам пытаюсь угадать, в чем суть написанного. Потом, с грехом пополам, разбираю текст, с трепетом поджидая маму.

И так — почти каждый день...

Когда уже один вид книжной обложки приводит меня в содрогание, мама торжественно вручает мне растрепанный томик, принесенный из институтской библиотеки.

— Десять страниц, — приказывает она.

— «Ро-бин-зон Кру-зо», — с трудом читаю я полустертые буквы на замахрившейся обложке. Крузо? Что это еще за мойдодыр?

Неохотно, весьма неохотно, осиливаю первую страницу, вторую, третью...

— Ну, прочла свою норму? Хватит на сегодня? — лукаво спрашивает мама через час.

— Н-нет, не прочла, — вру я. А сама уже подбираюсь к пятнадцатой странице. Как интересно! Нетерпеливо дергаю под столом ногой. Неужели Робинзон погибнет? Как он выпутается из беды? Скорей, скорей вперед! И откуда что берется? Читаю, как по маслу, не запинаясь, не путаясь, не застреваю в длинных словах!

Пора пить чай. На столе звякают стаканы. Режут хлеб! Я ничего не замечаю. Мама незаметно подкладывает мне кусочек, ставит рядом чашку. Все молчат. Ко мне никто ни с какими разговорами не обращается. А я — в полном упоении!

Редчайший случай: родители укладываются спать раньше меня!

— Можно еще, да? — спрашиваю у них глазами. Для слов у меня сейчас нет времени.

— Читай, дочка, читай, — улыбается папа и подмигивает — теперь уже не мне, а маме.

И я читаю, читаю, читаю, — до самого утра, при свете зеленой настольной лампы, в объятый сном комнате. Впрочем, при чем здесь комната? Я — на цветущем тропическом острове, где прямо пахнут диковинные цветы, на деревьях растут плоды, а по ветвям скачут

любопытные обезьяны. И я не одна, я вместе с храбрым, изобретательным Робинзоном!

Наконец, я засыпаю, положив голову на последнюю, обмятую по краям страничку...

Комендант крепости

Тетя Юля перебирается обратно к себе, на Восемнадцатую линию.

Она поступает на работу. Несколько дней назад к нам позвонили из тети-Юлиного домоуправления и долго вели с ней деловые переговоры. Тетя в ответ только успевала изредка вставлять тихонечко:

— Я понимаю... Понимаю... Да, да, понимаю... Конечно... Обязательно...

Иду... Как же...

Повесив телефонную трубку, тетя Юля по-военному быстро — в течение пятнадцати минут — собрала свое вязанье, шитье, вторые очки и начала с нами прощаться. Маме даны краткие советы, как лучше «выкручиваться» с тем мизерным пайком, который мы получаем по карточкам, мне — строжайшие наказы осторожно ходить по улицам и не угодить под снаряд, к папе обращена просьба беречь меня и маму и хотя бы изредка гладить самому себе брюки.

— Господи, теточка, да как же ты будешь там управляться? — вздыхает мама. — Тебе уже не двадцать, а все шестьдесят восемь!

— Это в мирное время мне было шестьдесят восемь, а сейчас — двадцать, — пытается шутить тетя Юля, но я вижу, что ей грустно, жалко оставлять меня без присмотра. Нам всем грустно: когда теперь свидимся? Работать тетя будет дворником, а это сейчас все равно, что быть комендантом крепости. По радио призывают: «Приведем в боевую готовность каждый дом!» А это означает: заложить мешками с песком витрины магазинов, оставляя лишь узенькие амбразуры для пулеметов; обходить по вечерам дозором весь дом, строго следя за тем, чтобы в затемнении не было ни малейшей щелочки; натаскать воды в сорокаведерные бочки, установленные на чердаке и лестничных площадках; поддерживать чистоту в бомбоубежище; дежурить на крыше во время налетов...

Короче — не знать покоя ни днем, ни ночью. Дворники из нашего двора ходят почерневшие, вымотанные, суровые — все их слушаются и боятся. Так же будут побаиваться и тетю Юлю, хотя мне верится в это с трудом: я-то ее нисколько не боюсь, даже тогда, когда в ответ на мои вечные поддразнивания «У тети Юли крысы косички стянули!» — она делает гневное лицо.

— Юля, если что, вы нам звоните, я приду, помогу, копать там,

нагружать или еще чего, — говорит папа.

— Ладно, позвоню, — соглашается тетя. Но я знаю, что не позвонит. Она никогда, ничего и ни у кого не просит — даже у нас, самых близких ей родственников в Ленинграде.

Тетя надевает свой серый пуховый платок — он всегда при ней, и в теплую погоду тоже.

— Присядем на дорожку, — приглашает мама. Мы садимся. Минута молчания. Потом мама троекратно целует тетю Юлю, и я вижу, что у них обеих глаза мокрые. Папа берет свою кепку — он проводит теточку до трамвайной остановки. Я повисаю у нее на шее, а она шепчет мне на ухо сквозь слезы:

— В ящичке своем, в столе, в уголочке, посмотри, когда я уйду...

Оставшись в комнате одна, я устремляюсь к столу. В бумажном кульке, на котором написано «Внученьке», лежат две маленькие плюшки из серой обойной муки, красные вязаные носочки с цветной каемкой и новенький рубль — на счастье.

Дорога через мост

Мы с мамой выходим из дому рано утром. Она спешит в свой институт, а меня — делать нечего! — ей приходится брать с собой.

Но, боже мой, зачем так рано?! Работа начинается у нее в десять, а мы встали ни свет ни заря и вот уже шагаем по Шестой линии к набережной Невы. Я сонная, еле плетусь. И вообще считаю, что можно было бы не тащиться через весь город, а спокойненько доехать на трамвае или троллейбусе. Это отняло бы не более двадцати минут, а так мы будем идти больше часа, устанем и еще больше проголодаемся. стакан чаю и ломтик черного хлеба — не очень-то это роскошный завтрак. Есть от чего прийти в некоторое уныние. Но мама уныния не любит, считает, что прогулка придает человеку силы. Она идет подтянуто, легко, улыбаясь утреннему солнышку и своим мыслям. Я прихожу в негодование — что это за черствость, в самом деле? Неужели она не видит, что я уже утомилась? Нарочно замедляю шаги и повисаю у нее на руке.

— Ма-ам, я устала.

— Устала? — подозрительно переспрашивает мама. — А вот послушай-ка, что я тебе расскажу.

И она заводит сказку про Белоснежку и семь гномов. Мама, как всегда, рассказывает чудесно, и я в другой обстановке слушала бы ее, развесив уши, но сейчас в меня вселяется бес упрямства.

— Я про Белоснежку наизусть знаю.

— Ну, хочешь, — про Царевну-Лягушку?

— Не хочу! Я не могу идти так быстро.

— Отчего же? Ты же здоровая девочка.

— Я же сказала тебе — ус-та-ла.

— Знаешь что, — говорит мама, на минутку останавливаясь, — кажется, я понимаю. Смотри-ка сюда.

Она достает из портфеля лист бумаги и, прижав его к стене дома, рисует препротивного человечка — ручки, ножки-палочки, длинный змееобразный хвост и хмурая физиономия со злыми глазами-точками.

— При чем здесь черти? — артачусь я.

— Гляди внимательнее, — смеется мама. — Это не чертик, а твой Каприз-Капризулице. Сейчас мы его выбросим.

Она комкает бумажку и кидает ее в урну. Я кисло улыбаюсь, и мы бежим дальше — в том же темпе.

Завывает сирена. Тревога. Она застигает нас в самом начале моста Лейтенанта Шмидта. Повернуть обратно? До ближайшей подворотни на Васильевском довольно далеко. Надо быстро пересечь мост. Впрочем, поглощенная своими капризами и дурным расположением духа, я как-то не задумываюсь над опасностью момента. Опять мама тянет меня за руку? Я же совсем не могу, ноги не идут — не идут, и все!

— Помедленнее, — умоляю я, — помедленнее...

А свист снарядов нарастает, они проносятся где-то прямо над нашими головами. Б-бах! За чугунными перилами моста взметывается высокий фонтан воды.

— Ну хоть маленькую передышечку, мама!

Тогда мама с размаху закатывает мне пощечину, хватая за шкуру и увлекает вперед. Бах!!! И еще раз — бах!!! Снаряд разрывается прямо на мосту — как раз в том самом месте, где я только что хныкала и притормаживала. Нас отшвыривает на несколько метров взрывной волной, в спину нам летят осколки, один из них — я чувствую — вспарывает мне пальтишко...

Когда через несколько минут мы оказываемся в парадной одного из домов на набережной Красного флота, у меня зуб на зуб не попадает. Мама, разглядывая мое пальто, сурово выговаривает:

— Погибают те, у кого нет энергии, нет воли. Ты уже большая девочка.

Пора понимать кое-что в жизни. Я торопилась потому, что предвидела приблизительно, когда начнется обстрел. Я ничего не говорила — не хотела пугать тебя заранее. Что было бы сейчас с нами, если бы я поддалась на твои капризы?

Шапочка Глинки

Мы долго еще идем по бесконечному, пустому бульвару Профсоюзов.

Наконец, вот он, мамин институт — красивое здание с высокими зеркальными окнами, напротив Исаакиевского собора.

— Леночка, помощница наша пришла, — улыбаются добрые седые тети, мамыны сослуживицы. — Что тебе, детка, показать?

Раскрываются дверцы огромного шкафа красного дерева, и с полки снимают узенький футляр. Там, на багровом бархате — полированный прутик.

— Это дирижерская палочка, — благоговейно шепчут тети. — Знаешь, кто ею дирижировал? Сам Направник!

— Кто, кто?

— Был в России такой знаменитый дирижер и композитор, он управлял оркестром Мариинского театра, написал оперу «Дубровский»... А шапочку Михаила Ивановича Глинки хочешь посмотреть?

С большими предосторожностями мне дают подержать какой-то беретик из серебристой парчи, расшитый тусклыми бусинами.

— Жемчуг, — говорят тети.

Ы-у-у! Ы-у-у! — опять воет сирена. Минута — и я оказываюсь в бомбоубежище, на коленях одной из тетей. Правой рукой она прижимает меня к себе, другой осторожно держит шапочку Глинки...

Институт завален свежими желтыми досками. В ящики со стружками и опилками укладывают экспонаты институтского музея музыкальных инструментов.

Ящики снесут в подвалы: такой музей — один-единственный в стране, его необходимо сохранить. Я брожу по загроможденным комнатам. В белых клавишинах изредка надтреснуто позвякивают струны; лихо изогнулись охотничьи рога с серебряной инкрустацией: а вот витрины, где в стеганых футлярах нежатся крошечные, все в перламутре, скрипочки; рядом — голенастые цимбалы, разнокалиберные балалайки и флейты... Все это мне можно потрогать, понюхать. Меня уже начали дома понемножку учить на фортепиано, я знаю ноты и могу одной рукой «изобразить» «Во поле березонька стояла...» Именно это я и пытаюсь сделать, открыв крышку клавиатура. Седые тети снисходительно улыбаются. Мама по горло занята упаковкой и ничего не слышит.

...Ночью мы остаемся вдвоем с ней в опустевшем институте. Мама

дежурит, а меня не с кем отправить домой. Она обходит институтские залы с лепными потолками, мраморные лестницы, анфиладу музейных комнат — проверяет, в порядке ли ящики с песком, на месте ли щипцы для «зажигалок»... А я уже лежу, укрытая маминым пальто, на полосатом диванчике. У него гнутые ненадежные ножки. В гулкой комнате — таинственный полусвет и тени от рыскающих по небу прожекторов. Но что это? Слышатся слабые, нежные звуки музыки. Или это уже мне снится? Протираю глаза — раз, другой и вдруг вижу: играет на свирели маленький кукольный пастушок в атласном камзолчике, спрятавшийся под овальным стеклянным колпаком. Его преданно слушают розовая нарядная пастушка и белая козочка...

Это мама, уходя на крышу, принесла из музея и завела для меня старинную музыкальную шкатулку.

Одна

Дни все короче, темнее. Ноябрь. Мама больше не берет меня с собой — в институте холодно, я там мерзну, скучаю и путаюсь у всех под ногами. С утра до вечера теперь я дома одна. Собираясь на работу, мама горестно вздыхает:

— Приду поздно. Отца тоже не жди. В буфете тебе покушать. Будь умницей.

Стоит входной двери захлопнуться — я одним прыжком к буфету! На фарфоровом блюдечке — пузатенькая, «детская» чашечка с мучным супом — зеленоватой жидкостью-болтанкой и пластик черного хлеба, такой тоненький, что сквозь него просвечивает воздух. Я знаю: больше мне оставить не могли.

Мама и папа съели утром по точно такой же порции. На «детские» и «служащие» карточки выдают по сто двадцать пять граммов хлеба в день — на троих это четверть черной, тяжелой, заскорузлой буханки. Ирочкина мама такого хлеба не признает.

— Там же одни отруби и бумага, — возмущается она. — Разве это можно есть?

Можно! Да еще как! Если ей не нравится, могла бы отдать кому-нибудь — мне, например, или Нюре. Но она почему-то не отдает. Наверное, сушит на сухари и продолжает запасаться.

...Снова и снова заглядываю в буфет. Съесть свой дневной рацион сейчас или немного подождать? Ну, съем. А потом что? Терзаюсь самыми мучительными сомнениями. Отхожу от буфета, копаюсь в постылых игрушках. Но чашечка с супом и, в особенности, хлеб — так и маячат перед глазами. Чем бы отвлечься? Затеваю игру в дочки-матери со своим любимым Микой, хотя он отнюдь не походит на «доченьку».

— Вот, милая, — говорю сокрушенно безмолвному Мике. — Приду поздно.

Отца тоже не жди. В буфете тебе покушать...

Тьфу! Опять этот буфет. Запру-ка я его (ключик всегда торчит из медной скважины и служит вместо оторванной ручки) и уйду в другую комнату. Так и поступаю, но покоя все равно нет. Книгу, которую хватаю с полки, от волнения держу вверх ногами — читать я не в состоянии. И вдруг меня осеняет: съем!

Тогда, по крайней мере, и беспокоиться будет не о чем.

Решено — сделано. Холодный суп пью маленькими глоточками, чтобы растянуть удовольствие. Но счастливая минута проходит быстро, а я как голодной была, так голодной и осталась. Часы тянутся медленно. Сумерки. До выключателя мне не достать, забраться на стул не приходит в голову. Мысли вообще шевелятся в мозгу еле-еле. И я впадаю в какое-то полудремотное состояние. Я не сплю, но нет сил шевельнуться, стряхнуть с себя оцепенение.

Всей кожей ощущаю, что в комнате, в ее неясных углах есть КТО-ТО. Может, он под письменным столом? Или за шкафом? КТО-ТО поскрипывает, шуршит, дышит...

Жутко! Отчаянным усилием воли заставляю себя встать с дивана, на котором прикорнула. Надо вырваться на свет, к людям! В панике несусь через длинный пустой коридор на кухню. Там тепло, тлеют керосинки. Агния Степановна жарит блины на постном масле. Лицо ее пылает и лоснится от жары. На тарелке уже выросла тяжелая мягкая стопка серых ноздреватых блинов. А запах! От этого запаха у меня крепко сводит скулы. Обессиленная, я прислоняюсь к плите и — хоть убейте! — не могу оторвать взгляда от пошипывающего в сковородке блина. Может, попросить один? Да ведь не даст. А если таким жалостливым голосом, и сказать волшебное слово «пожалуйста»? Нет, ни за что! Разве только сама предложит...

С надеждой слежу за каждым движением соседки.

Агния Степановна отводит полной рукой прядь черных волос ото лба и недовольно косится на меня:

— Что ж, мать тебе опять ничего не оставила? Как эта можно, на целый день ребенка бросать?

«Ну дай же, дай! — умоляю ее про себя. — Ну пол, ну четверть блинчика!..» И в ушах начинает навязчиво звенеть детская песенка, которой меня учила тетя Юля: Блин, блин, блин, Полблина, полблина, полблина, Четверть блина, четверть блина, четверть блина...

Песенка изображает колокольный звон — Блинннн, блинннн, блинннн, блинннн...

— Ирочка! — пронзительно кричит Агния Степановна. — Неси скорей блины в комнату, остынут!

Тарелка, соседка и моя закадычная подруга Ирочка уплывают в тоннель коридора, а я слышу, как в двери их комнаты изнутри звякает ключ...

Долго и мрачно нюхаю блинный воздух. И чего, спрашивается, ждала? Чего?

И вчера ведь не дали, и позавчера, и завтра не дадут. Не буду больше выходить на кухню. Нечего унижаться. А они пусть подавятся своими блинами. Я нарочно громко запеваю какую-то несусветицу и марширую в комнату.

Через некоторое время в дверь стучат. Ирка. Сытая, негодяйка! Я сухо перебрасываюсь с ней несколькими словами, и моя подружка, покрутившись у стола, уходит. Забираюсь с книгой в угол дивана. Но что это? Почему и здесь, в комнате, столь основательно удаленной от кухни, витает изумительный блинный дух? Повожу вокруг глазами и носом — и замечаю на краешке стола бесформенный комок газеты. Его же не было, он появился минуту назад!

Разворачиваю бумажку — три блина!

Эх, Ирка, дорогая моя Ирка!

Почему о людях часто думаешь хуже, чем они есть на самом деле?

Нюра

Около семи часов вечера я приоткрываю комнатную дверь, чтобы не пропустить лязганья замков в прихожей и тяжеловатых, торопливых шагов в коридоре. Нюра! Я оживаю, слегка нервничаю, жду.

Ток-ток! Ток-ток! Это Нюра стучит мне в стенку условленным стуком.

Значит, она уже успела зажечь в своей комнатухе свет, переодеться в заношенный горошчатый халатик из фланели и поставить на керосинку наш чайник. Через минуту я у нее. Сажу на единственном стуле с драной коленкоровой спинкой и слушаю Нюрино добродушное ворчание и болтовню.

— Агашка блины пекла? Чаду полная кухня. А у тебя опять по усам текло, да в рот не попало? Ай?

Я в подробностях излагаю дневное событие.

— Девчонка-то у нее добрая, — умиляется Нюра. — Сама только выжига.

Да что нам с нее? Ай?

И правда — что нам с нее?

Нюра работает на табачной фабрике имени Урицкого. Фабрика тут же, на Васильевском, на Восьмой линии. До войны Нюрино лицо, руки, одежда всегда пряно пахли табаком, и мне очень нравился этот запах. Теперь табачного аромата не слышать. Мне известно, в чем дело — Нюра выдала мне секрет: ее цех перевели с папирос на мины. Называются эти мины очень смешно — «кошки».

— Сколько сегодня «кошек» выпустила? — спрашиваю я Нюру.

— А вот уж этого я тебе сказать не смею, — строго отзывается моя приятельница. — Это-то и есть самая главная военная тайна. Ну что, чай пить будем? Ай?

Еще бы, конечно, будем! Из тумбочки Нюра достает два граненых стакана и два блюдечка, на которых написано красным «Да здравствует РККА» и нарисован красноармеец в островерхом шлеме. Нюра очень дорожит этими блюдечками — их подарил ей «так, один друг», который сейчас на фронте.

На мои просьбы рассказать об этом «так, одном друге» Нюра обычно отмалчивается.

— Это твой жених, да? — пристаю я.

— Много их, таких женихов, — бурчит Нюра. Но блюдечки тем не

менее бережет и после чаепития тщательно вытирает их полотенцем. А стаканы просто споласкивает и опрокидывает на тумбочку.

Чай у нас с Нюрой очень горячий и очень прозрачный — одну и ту же заварку, обдавая ее кипятком, используем вот уже вторую неделю. Сахару нет.

Вместо него — четыре розовые карамельки-подушечки. Нюра делит их со мной по-братски. Кусок черного хлеба — тоже.

Потом мы включаем радио и слушаем сводку Совинформбюро: бои на всех фронтах, немцы на подступах к Ленинграду. Ничего утешительного... Нюра пригорюнивается.

— А что, Ленуха, — говорит она, — не податься ли и мне туда?

— Куда?

— В ополчение! У нас записывали. Многие бабы записались.

— А ты умеешь стрелять? — удивляюсь я.

— Так разве на фронте только стреляют? Там ведь и кашу, небось, варят, и портки стирают. Вот баба тут и пригодится. Ай?

Плохо мне будет без Нюры, но я молчу...

Довесок

Меня послали в булочную. Зажав в кулаке карточки, пристраиваюсь в хвосте хмурой очереди. Жадно потягиваю носом хлебный дух. Шеренги темно-коричневых, почти черных буханок — что может быть лучше такого зрелища? Женщины придирчиво, враждебно следят за «уточками» весов, за движениями медлительной продавщицы.

— А ну, перевесь! — грозно требует то одна, то другая. Худенький, какой-то совсем бесплотный мальчишка, одетый во что-то серое и мешковатое, неуверенно, поминутно озираясь, пробирается в толпе. Вот он примостился у прилавка, уткнувшись носом в самые весы. Его буравят недобрые, подозрительные взгляды.

— Тетенька, дайте довесочек, — еле слышно просит мальчишка у покупательницы.

— Не могу, мальчик, свои голодные...

— Тетенька, дайте довесочек...

— Парень, ступай лучше домой.

— Дайте довесочек...

— Еще чего! Постыдился бы попрошайничать!

— Тетенька, дайте...

— Господи, горе-то, горе...

— Тетенька... Тетенька... Тетенька...

Тетеньки, не глядя другим в глаза, прячут в сумки свои пайки и быстро, не оглядываясь, выходят. В очереди всхлипывают.

— Продавец, дали бы ребенку кусок, — находит кто-то выход.

Очередь волнуется, шумит.

— Дайте, ну что вам стоит!

— Сами дайте, если такие добрые! — зло отзывается продавщица.

Мой черед приближается.

Я лихорадочно соображаю. Что мне-то делать? Триста семьдесят пять граммов на троих — это совсем мало. Дать довесок и дома сказать, что сама съела? Но ведь его и вправду можно съесть самой, а дома сказать, что отдала мальчику.

Как быть?

К моему великому облегчению, мальчишка вдруг отдирает свой бледный нос от прилавка, поворачивается и плетется к двери.

Спасен мой довесок!

Только радости я почему-то не испытываю... Еще немного медлю, потом, уже у самого выхода, догоняю мальчишку и сую ему в грязную цепкую ладошку треугольный обрезок мякиша...

«Тамбурин» Рамо

Папа целыми днями в разъездах: он состоит в концертной бригаде, а у бригады — по шесть концертов в сутки. В стареньком автобусе папа и все его друзья-артисты мотаются из конца в конец огромного города — то едут на завод, то в госпиталь, а то и прямо на линию фронта. Она недалеко. Немцы в самых близких пригородах: Павловск, Пушкин, Петергоф, Гатчина, можно считать, у них в тылу, — они подобрались уже к Средней Рогатке, Автову...

Но сегодня концертов нет. Папа дома. Я читаю «Принца и нищего» Марка Твена, папа — играет на скрипке. Желая доставить мне удовольствие, он не бьется над законом Паганини, что требует бесконечных однообразных упражнений, а вдохновенно исполняет «Тамбурин» французского композитора Рамо. Мелодия танца так проста и красива, что у меня от восторга мурашки и хочется плакать. Почему-то очень жалко папу. За последнее время он сильно похудел, и черные лохматки особенно заметно осеняют его удлиненное лицо с крутым подбородком.

— А ведь мама приказала сходить в магазин, крупы выкупить, — вдруг, опуская скрипку, задумчиво произносит папа.

И в самом деле — было такое приказание. Вчера, в «Ленинградской правде» появилось очередное долгожданное «Извещение от городского отдела торговли». В нем сообщалось, что разрешена продажа трудящимся по ноябрьским продовольственным карточкам в счет месячных норм: а) мяса и мясопродуктов — двести граммов; б) крупы — двести граммов; в) муки в счет крупы — двести граммов.

От «правой» соседки нам известно, что в магазин, к которому мы прикреплены, завезли пшонку — Агния Степановна сама видела, как выгружали мешки. И очередь туда выстроилась уже с утра. Значит, надо идти.

Я вижу, что папе так неохота отпраиваться в эту сугубо женскую очередь!

— Давай, сбегаяю? — предлагаю я отцу. Папа сдвигает лохматки — думает.

— Нет, знаешь, брат, погода сегодня отвратная. Простудишься ты. Сиди уж дома.

Папа берет плетеную сетку-авоську, надевает длиннополое пальто и уходит. Буквально через три минуты слышу, как он топчется в прихожей.

Вернулся? Забыл что-нибудь?

— Забыл! Забыл! — вбегая в комнату, кричит папа. Он швыряет на диван авоську, кепку и... вскидывает на плечо скрипку. — Осел твой отец!

Настоящий осел! Вот как это место надо играть! Я ведь и раньше его так именно и играл, а потом забыл!.. Вот, послушай!

— Та-ра-ри-ра-там-там...

Уух-х-хх!!! Рвануло совсем рядышком. Папа, скрипка и я — мигом оказываемся у окна. Господи! Снаряд угодил в угловой дом. На том месте, где только что был наш магазин, к которому мы прикреплены, горячо дымятся груды кирпича. Что с людьми, стоящими в очереди?

Папа меняется в лице.

— А если бы ты пошла, Ленка?!

А если бы папа не вернулся так странно и неожиданно? И почему он, собственно, вернулся с полдороги? Что его толкнуло на этот необъяснимый поступок?

— «Тамбурин» тебя спас, — говорю я.

Сколько таких фантастических везений сопутствовало в те времена ленинградцам!

«Тамбурин» Рамо — этими звучными словами в нашей семье отныне стали называть всяческие случайности, которым мы были обязаны жизнью. А их в тот год было немало.

Воскресная застольица

Наша квартира пустеет. Нюра в один прекрасный день появляется в пилотке и гимнастерке. Записалась-таки! Расцеловав меня в обе щеки, она едет в сторону войны — внизу ее ждет машина. «Правые» соседи неожиданно перебрались в другой район — поменяли комнату. Они даже не попрощались с мамой. Паша сгинул в неизвестном направлении — он уже месяца полтора не показывается дома. Васильевский сильно изменился. Его линии пустынные и «проглядываются» до самой набережной Невы. Троллейбусы и трамваи перестали ходить. Синими и красными мастодонтами они застыли вдоль тротуаров.

— Сегодня от самого института и трех человек не встретила, — рассказывает мама.

Окна в комнатах плотно, мохнато замерзли. Декабрь...

Еще затемно в воскресенье мы снаряжаем отца в дальний путь. Он «питается» в столовой «по месту работы» (многие ленинградцы питаются теперь в столовых), а это в районе Невского. Папа надевает тяжелое зимнее пальто на вате, поднимает воротник, и мама, как маленькому, повязывает ему поверх воротника серый шарф с кисточками. Мне смешно: отец такой высокий, солидный — и вдруг этот шарфик!

— А ты знаешь, сколько на дворе градусов? — сердится мама. — Минус тридцать. Такой зимы давно не было.

Папа берет тусклые двухэтажные алюминиевые судочки и пускается в дорогу. Придет он только вечером. По старым временам, до Невского и обратно он обернулся бы за полтора часа, но сейчас все иначе. Папа слабеет, и через каждую сотню шагов ему нужно присесть отдохнуть.

В ожидании обеда я вырезаю из бумаги куколок. Мама вышивает салфеточку швом «ришелье» — она рукодельница и не любит сидеть без дела. По радио объявляют бомбардировку. Стены то и дело сотрясает, настольная лампа звенит и приплясывает. Однако наш дом все еще пока невредим, хотя вокруг него со всех сторон громоздятся руины. Немцы целят в большой завод имени Козицкого, который в двух шагах от нас. Разрушен дом слева, дом справа, флигель во дворе. У дома напротив, в палисаднике две недели лежит неразорвавшаяся бомба. Все ходят на нее посмотреть.

— Давай накроем на стол покрасивее, — предлагает мама, — ведь сегодня воскресенье.

Мы достаем бабушкины серебряные ложки, столовый сервиз с золотой каемочкой, зеленое фаянсовое блюдо для хлеба. Ну и пусть на первое будут щи из «хряпы» — сорной капусты, а на второе горькая пшенная сечка без масла — зато вид у нашей воскресной застольицы нарядный.

Папа благополучно возвращается. Он долго не может согреться и отдышаться. Наконец, «хряпа», разбавленная водой, разлита по белоснежным тарелкам.

Трах!!! Лихо брякаются об пол разбитые стекла. В комнату с силой врывается холодный ветер. Папа отброшен к стене, мама уткнулась лицом в скатерть, а я, судорожно прижимая к себе блюдо с хлебом, лежу ничком у двери. Мы как будто парализованы, ни шелохнуться, ни слова вымолвить не можем...

Снаряд угодил под самые наши окна. Но мы живы — опять «Тамбурин» Рамо!

Метель в комнате

Окно похоже на разинутую акулю пасть. Оно ощерилось редкими острыми зубами-осколками, которые хищно поблескивают по краям рамы. Пасть обдаёт нас ледяным дыханием. Надо срочно что-то решать. Переночевать у соседей? И завтра вставить стекла? Но где найти в блокадном городе стекольщика? Перед такими житейскими заботами мои родители обычно встают в тупик. Да и соседей тревожить неловко, у них, конечно, и у самих стекла вылетели.

Остается одно: искать прибежище у дяди Саши. «Площадь» у него пустует — сам он на военном положении. Самое обидное, что этот папин младший брат живет на Большой Московской, недалеко от Невского. На поход в те края отец уже потратил сегодня весь день... Но что поделаешь? Собираем самое необходимое. Я понесу энзе. Папа — скрипку. Мама предусмотрительно увязывает в узел наши лыжные костюмы. По традиции присаживаемся перед уходом и молчим. По комнате гуляет легкая метель, заноса снегом черепки парадного сервиза...

Сидение затягивается — словно мы предчувствуем, что покидаем свой дом надолго...

Много часов длится наш «пеший переход» по заиндевевшему безлюдному городу, мимо слепых зданий, обложенных у подножий высокими конусами сугробов. Уже когда добрались до застывшей Невы, мама вспомнила, что забыла выключить электрический чайник. Пришлось возвращаться, потом снова идти, идти, идти...

У камина

Дяди-Сашина «площадь», ключ от которой, подозрительно оглядев нас, выдала нам соседка, — настоящий необитаемый остров. Нога человека не ступала здесь очень давно. Скучная мебель — стол, никелированная кровать, кушетка с продранными валиками — покрыты слоем дремучей пыли. Гора немытой посуды с окаменевшими остатками пищи. Звонкая стужа.

— Ура! — кричу я. — Мы робинзоны! Скорей к пещере! Добудем огонь!

Добудем огонь... Легко сказать! Мама в ужасе глядит на то, что я назвала пещерой, — великолепный мраморный камин, единственное украшение комнаты. За его чугунной решеткой зияет бездонный провал. Чем натопить такую прорву? Как будем жить? Дров у дяди Саши, конечно, и в помине нет. Их вообще ни у кого нет — и на Васильевском-то мы уже мерзли.

— А, — машет рукой папа, — на мою ответственность!

В камин летят стул, какая-то этажерка, кипа журналов.

В трубе дико завывает, пламя с чудовищной быстротой уносится вверх, а тепла — никакого.

Но все же огонь добыт, крыша есть. К утру общими усилиями «площадь» приобретает более или менее обжитой вид. И у меня даже есть любимый угол — на кушетке, возле узкого окна. Там брошена пропахшая нафталином дядина медвежья доха. Под шкурой тепло, как в берлоге. Если запасть интересной книгой, можно, пожалуй, и совсем не вылезать отсюда.

Знакомство

— Здрасьте! Знакомиться будем? Зинаида Павловна, ваша соседка... Мы уже виделись...

Вынырнув из своего «медвежьего угла», я вижу в дверях «даму». У нее высокие фетровые боты, крашенные губы сердечком и шляпа. Кроме того — холеное напудренное лицо с двойным подбородком, руки в кольцах. И на шее ажурный платок.

Мы тоже в пальто и в платках, да еще в лыжных костюмах, которые не снимаем и ночью. Камин сожрал в доме все деревянное, кроме стола, а холод по-прежнему лютый.

Гостья уверенно закуривает и заводит разговоры.

— Скучаю, скучаю... Муж на фронте. И в театр сходить не с кем.

Пойдемте, Олечка, со мной — у меня два билета в оперетку. «Продавец птиц».

Там, знаете ли, ставят очень недурно.

«Какой сейчас может быть театр? — думаю я. — В такой-то мороз и обстрелы...» Но мама оживляется.

— Да, да, они молодцы, продолжают играть, наши институтские тоже ходили. Я бы с удовольствием, но ведь мне здесь не во что одеться... Вот, видите, в лыжном костюме...

Знакомство завязано. Нас приглашают заглянуть вечером на чай. Отлично!

Я ликую и делаю на кушетке «кувырок».

Скоро мы уже знаем всех обитателей дяди-Сашиной квартиры. Квартира большущая (бывшая «буржуазная», ныне коммунальная), в Ленинграде много таких. Прямо из пустой передней, где со стен свисают клочки грязных обоев, узкий, как противотанковая щель, коридор ведет в темную неизвестность. В глубине ее есть какие-то неведомые двери, а в самом конце — закопченная, с наплывами на окнах, кухня. В ней никогда никто не бывает, не готовит. Пройти по коридору для меня — сущая пытка. Если надо сбегать в уборную, я, зажмурив глаза, бросаюсь в него, как в бездну. Лечу стрелой, с замирающим сердцем, ушибаюсь о дверные ручки. Будь моя воля, я использовала бы стоящее в комнате помойное ведро, но мама в таких вопросах неумолима.

Есть в квартире и еще люди.

Два раза в день к нам заглядывает маленькая бледная старушка. На ней

жакетик с рыжей лисой, поголубевшей от времени, и мятая соломенная шляпка.

Нос густо, сизо напудрен. Старушка держит в руках эмалированную кружечку и несмело задает маме один и тот же неизменный вопрос:

— Ольга Сергеевна, голубчик, я сырой воды выпила... Как вы полагаете, я от этого не умру? Не умру ведь, а?

...Через месяц она умерла.

Но не от сырой воды, а от голода. И неделю лежала в своей комнате, все в той же лисьей кацавеечке и шляпке. Не могли достать гроб...

Еще есть в квартире научная семья. Доцент Раппапорт и доцентша Раппапорт. У них дочка — Валерия. Про нее мне Зинаида Павловна сказала:

— У Лерки ножка будет — сорокового размера.

Мне представляется маленькая девочка с длинными, острыми, как лыжи, ступнями. Но я ее так ни разу и не видела. Раппапортов вообще никто не видел. Как они проникали в дом, когда выходили — это для всех было загадкой.

В двух смежных комнатушках ютилась орава ребятишек. Отец и мать, отупевшие от недоедания, хоронили их одного за другим.

Я не слышала, чтобы кто-нибудь из них плакал.

Долгие-долгие дни

В ту страшную зиму дни мне казались нескончаемо долгими.

На завтрак — стакан кипятку и крошечный кусочек хлеба.

— Вы скоро придете? — безнадежный вопрос к родителям.

— Постараемся как можно скорее...

У мамы новый наряд, который достал дядя Саша, — толстые ватные брюки-галифе и стеганая ватная куртка. На ногах — чуни, самодельно сшитые из клочка овчины. Туалет венчает байковая ушанка. В таком виде мама, взяв портфель, ежедневно ходит в свой институт истории театра и музыки.

Итак, они ушли. В первые полчаса я развиваю бурную деятельность. Двери баррикадирую столом и диванными валиками. Помойное ведро — поближе к моему углу (мама-то на работе!). Что почитаем? «Трех мушкетеров»! И р-раз — под шубу!

С тех пор, как я научилась запоем читать, мои страхи стали разнообразнее и обрели конкретное воплощение. Не только КОГО-ТО — я боюсь Вия, Леди Макбет, Баскервильскую собаку, Джона Сильвера и даже загадочного доброго капитана Немо. Бомбежки и обстрелы меня давно уже не страшат. Я лишь поглубже зарываюсь в пыльный медвежий мех, чтобы не слышать грохота и свиста. Впрочем, наученная некоторым опытом, я уже знаю, что если просвистело и прогрохотало — значит пронесло.

Некоторое время я погружена в книгу. Затем, застряв на описании какой-нибудь трапезы, мечтаю. Вот я в унынии бреду по улице.

И вдруг мне навстречу — Сталин.

— Чего ты хочешь, Леночка? — спрашивает он и улыбается.

— Чтобы наши победили!

Но я чую, что будет задан и второй вопрос. Ответ на него у меня тщательно продуман.

— А чего бы ты еще хотела, Леночка?

— Горохового супу с грудинкой!

Такой суп был коронным номером в нашей семье. Я вижу перед собой тарелку с янтарной жидкостью, густой запах щекочет мне ноздри, на языке вкус рассыпчатой, сладкой горошины...

Нет, нет! Читать, читать, читать. Сталин по улицам просто так не ходит.

Во второй половине дня, когда комната уже вся синяя — темнеет

рано — я цепенею под своей шубой от слабости. Голод неотступно терзает меня, как зубная боль, которой конца не видно. На ум приходят недобрые мысли...

Преступление и наказание

Есть поступки в детстве, которые казнят жгучим стыдом всю жизнь. В сущности, это мелочи, но в них как бы отражены все твои плохие задатки.

Безусловно, позднее ты ничего подобного не делал, наоборот, был честен и прям, но ведь когда-то ты все-таки СМОГ... И эта мысль нестерпима.

Для ужина в ящик стола отложены три ломтика хлеба и три дольки шоколада. Мне это хорошо известно, стол не заперт — мне вполне доверяют. Но после грез о гороховом супе я могу думать только о еде. Настоящее наваждение. А что, если от шоколадки отрезать совсем незаметный краешек?

Этого, наверняка, никто не увидит. И потом — я ведь возьму СВОЮ долю...

Острым ножом срезаю один пластик. Чудно, ни малейшего следа. Еще срежем.

Еще... Еще... Вкусно-то как! Еще! Еще! Теперь — хлебца...

От моей доли не остается и крошки. Возьму немного от папиной. Опять пускаю в ход нож...

Когда на тарелке чернеет последний ломоть, я хватаюсь за голову. Что я натворила! Оставила всех без еды. Как я взгляну в глаза маме? (Папы я не боюсь).

Но это еще не было преступлением.

Отец пришел на сей раз пораньше. Поставил на «буржуйку» (камин заменила жестяная печурка с коленчатой, через всю комнату, трубой) чайник, приготовил стаканы. Сейчас должна появиться мама. Затаившись, я обреченно жду стука в двери...

Мама возвращается усталая, замерзшая. Губы у нее в запекшейся крови — цинга. Она бесконечно долго моет руки — отец поливает ей из кружки, идет к столу, выдвигает ящик...

— Лена, ты съела хлеб? — взгляд у мамы строгий, укоризненный. Серые глаза суживаются. У меня душа замирает от ужаса.

— Нет, не я... Папа.

Никогда не забуду, как растерялся от моего предательства отец! Он все понял и пожалел меня сразу же. Но ЭТУ вину, ТОГДА, в зиму 41-го года, он не мог взять на себя как сильно ни любил меня.

— Лена, ты сказала неправду! Я же только что пришел.

— Нет, он, он, он!..

Мама переводит дыхание. Молча берет оставшийся кусочек, молча вкладывает мне в руку.

— Ешь!

И до тех пор, пока я, давясь и обливаясь слезами, не проглатываю этот горчайший в моей жизни хлеб, она молча стоит рядом...

Эвакопункт

Изредка домой заходит дядя Саша. Он среднего роста, с красивой крупной кудрявой породистой головой. Один глаз закрыт черной повязкой.

Дядя Саша в гимнастерке, перетянутой скрипучими кожаными ремнями. Вид у него всегда ответственный. Он — начальник эвакопункта.

Какой такой эвакопункт — я представления не имею. Это непонятное слово путается у меня в голове с другим таким же непонятным — контрапункт, которое я слышала от мамы.

Но вот однажды меня посылают туда с какой-то запиской к дяде Саше. Это рядом, на соседней улице, в сорока шагах от нас.

В подъезде эвакопункта — он размещен в здании школы, мне преграждают дорогу санитарки и нянечки с носилками. «Больных несут», — догадываюсь я и прижимаюсь в уголок лестничной клетки, чтобы не мешать. Санитары в грязных халатах все спускаются и спускаются вниз. Лица больных проплывают передо мной — странно розовые, неподвижные, с лоснящимися лбами. Старик, молодая женщина, ребенок... Сколько же их?

— У вас госпиталь в подвале, да? — спрашиваю у пожилой нянечки.

Она неопределенно кивает, глядя мимо меня:

— В нехорошем месте ты встала, девочка...

Я рывком отворачиваюсь к стене. Как я сразу не поняла? Это же мертвые, покойники, трупы...

Похолодев, взбегаю на верхний этаж, стрелой несусь по коридору. Всюду вповалку лежат и сидят люди — дверей нигде нет, видно, что они выдраны «с мясом». Скорей бы найти дядю Сашу!..

Несколько позже, из разговоров взрослых, я узнала, что эвакопункт был до отказа набит беженцами из оккупированных пригородов Ленинграда. В ожидании какого-нибудь устройства, лишившиеся всего, они сотнями умирали от голода и болезней. Умерших часто скрывали под одеялом или в куче тряпья, держали их там, пытаюсь сохранить продуктовую карточку. Парты, столы, школьные доски, двери, даже паркет были сожжены. Чтобы обогреться, костры разводили прямо на полу...

Через несколько дней после того, как я увидела, что такое эвакопункт, там случился пожар. Горел подвал, куда складывали мертвецов перед тем, как увезти их в грузовиках на братские могилы... Всю ночь дядя Саша и другие работники растаскивали по вестибюлю школы обгоревшие тела...

Запах паленого долго сохранялся в здании. В школе той я потом училась.

Будуар Зинаиды Павловны

Мама часто бывает у Зинаиды Павловны. В тот день, когда мы обе получили приглашение на чаепитие, я хорошенько рассмотрела соседкино жилище.

Квадратная комната с белой кафельной печью. На самом видном месте — туалетный стол и зеркало. Настоящий алтарь! Шелковые коробочки с духами расставлены вперемежку с фарфоровыми амурчиками, собачками, кисками, расписными пасхальными яйцами. Шкатулочки, вазончики с искусственными цветами, набор черепаховых гребенок, пудреницы, пуховки — чего там только нет! Целое богатство, прямо глаз не оторвать. Дома-то у нас ничего подобного не водилось. Мама не признает косметики. Исключение делается лишь для одеколona «Манон», который раз в год — на день рождения — ей преподносит папа. Мама иногда дает мне понюхать флакон.

— Чувствуешь, какой у него строгий и чистый запах? — спрашивает она.

На другом видном месте в будуаре Зинаиды Павловны — постель. Шикарное ложе с никелированными шарами на спинках. Каждый шарик подхвачен снизу розовым бантом. Постель застлана белоснежным кружевом и усеяна бесчисленным множеством вышитых подушечек. Вверху, на стене, два фото: Зинаида Павловна в молодости (опершись пухлым локотком на балюстраду) и бравый военный в красноармейском шлеме — первый муж.

Тепло, светло, а главное, на столе — как до войны! — печенье, варенье, сливочное масло... Откуда? Тогда я этим вопросом не задавалась, и благоговейно глотала угощение. Может, завтра позовут опять?

Но «опять» зовут только маму. Она берет вышиванье и уходит в будуар на весь вечер.

— А ты посиди, посиди у себя, деточка, — говорит мне Зинаида Павловна, загородив своим полным телом, облаченным в японский халат, дверь.

Врата рая захлопываются перед самым моим носом. Я слышу, как звякают ложки — чай готовят! — смех...

Глубоко оскорбленная, я залезаю в свой угол. А мама-то тоже хороша!

Совсем нет дела до единственной дочери. Сидит, небось, ест сладкий сухарик.

А я тут пропадай с голодухи. Правда, она отдает мне свой ужин, это я знаю, но все равно...

Зинаиду Павловну я невзлюбила тогда же, а на маму долгое время таила обиду. И только после войны, вспоминая, как за обе щеки уплетала мамин паек, я кое-что начала понимать. За возможность сунуть мне лишний кусок моя гордая мама расплачивалась втридорога... А чудесные наволочки и скатерти, вышитые ею, до сих пор украшают будуар Зинаиды Павловны.

Барахолка

На мостовой, покрытой толстой, как перина, наледью, — скопище людей.

Все переминаются с ноги на ногу, топчутся, кружатся на одном месте. Движения эти неуклюжи и неповоротливы, народ нацепил на себя что только можно шерстяного и теплого. Масса куда-то постоянно перемещается, словно течет медленная сумеречная река. Исток ее в конце нашей улицы, а дальше она разливается по рукавам переулков и подворотен. Это Кузнечный рынок, барахолка.

С барахолкой связаны все блокадные годы. Нет, не в смысле товарообмена — нам нечего было продать, а тем более не на что было купить. Туда ходили, чтобы побыть в людской гуще, потолкаться, поглазеть, почувствовать общность беды и общность усилий, преодолеть ее, выжить. Меня часто брал на барахолку папа.

Впрочем, хорошего там, конечно, было мало.

...Пожилая дама в чернобурке держит в охапке, как ребенка, громоздкие бронзовые часы с купидонами. «Кто купит сейчас такие?» — думаю я. Дама и сама, видимо, это понимает. Она сконфуженно поглядывает по сторонам и нередко вопросительно взывает:

— Часы не купите? Пятьдесят граммов хлеба...

Рядом идет сговор.

— Два кило!

— Не обманете?

— Да вы что?!

— Ну пошли. Значит, так, рояль, шкаф орехового дерева, два кресла.

Пишущая машинка... Я тут, неподалеку. И саночки свои дам...

Я разеваю рот. Целых два кило! Чего? Хлеба, пшена? Есть же у некоторых!

У «некоторых» действительно есть. И таких, в общем, немало. Мне тут же приходит на ум Зинаида Павловна. «Некоторыми» и держится коммерция. Торг идет лишь на такой основе: ты мне хлеб, я тебе — все что угодно. Продаются велосипеды, меха, детские коляски, отрезы материи, гаечные ключи, аквариумы, вязаночки дров, антикварный фарфор, фотоаппараты, щипцы для сахара, бланки похвальных грамот, золотые брошки, коньки... Из всего этого только дрова представляют реальную ценность. Остальное — ничто. Хлеба! Хлеба!

Вот продвигается баба в косматом пуховом платке. В узелке, который она несет, явственно проглядываются очертания хлебной буханки.

— Продавщица, наверное... — шелестит ей вслед.

К бабе бегут со всех сторон, суют ей в лицо кофты, босоножки, какой-то микроскоп... Но она, делая вид, что никого не замечает, упрямо таранит толпу.

— У, зараза...

Худой очкастый старик в каракулевой шапке пирожком устало прислонился к промерзшей стене. Перед ним, на чистой тряпочке — стопка томов в тисненых переплетах. Папа устремляется к этой стопке, жадно перелистывает книги — редчайшие старинные издания! Находка для знатока.

— Что просите за них?

— Сто пятьдесят граммов хлеба.

Мы поспешно отходим — хлеба у нас нет...

Папа крепко держит меня за руку и, чтобы развеселиться, громко кричит:

— Продается девочка! Кому девочка? Шалунья, озорница, недорого возьму...

— Папа!!! Ну, папа! Перестань.

— Кому девочка?...

— Па-а-па!

Отцовские шуточки кажутся мне совершенно неуместными. Мне стыдно за папу, который этого не чувствует. И... немножко страшно. Я, конечно, понимаю, что меня разыгрывают. Ну, а вдруг кто-нибудь меня приметит?

Подстережет потом в темном переулке и прирежет? Хожу-то я ведь по городу и одна. А ленинградская ребятня из уст в уста передает кошмарные слухи о том, что появились бабки, которые приманивают детей. Затащит тебя такая ведьма к себе, заговорит, а сама сзади топором — тюк! И засолят тебя в кадешке, пустят на котлеты и антрекоты. Или расторгнут по частям на барахолке. Кто сейчас станет разбирать, что за мясо продает человек из-под полы? Вон дядька там, поодаль, предлагает какую-то косточку. Так его прямо на части рвут. А поди, знай, чья это косточка?

От подобных размышлений становится уже совсем не по себе.

— Папа! Хватит!

А папа — резвится вовсю, как маленький.

— Купите девочку! Купите девочку!

С ума сошел?!

Вырываю свою руку из папиной и с отчаянным ревом продираюсь
сквозь толпу, ничего не видя вокруг из-за слез.

Испуганный отец долго не может меня успокоить.

— Как ты боялась, что я продам тебя другому папе! — утверждал он
двадцать лет спустя.

О, родительское тщеславие!

Коммуна

Вокруг нашего потухшего камина постепенно образовывается небольшое общежитие.

Из своей заглодевшей квартиры к нам «подселяется» папина сестра тетя Соня со своим мужем дядей Колей. Он школьный учитель. Территория комнаты невидимыми границами разделяется на отсеки. Мы — Комаровские — базируемся в районе моей любимой кушетки. Если снять с нее подушки и валики, получится довольно широкое ложе. Как раз для папы и мамы. Мне снимают с антресолей детскую кроватку, в которой подрастал дяди-Сашин сынишка Димка, ныне пребывающий со своей матерью на Урале, в эвакуации. Димкина кроватка «ясельного» типа — этакий зарешеченный со всех сторон садок для ползунков.

Я естественно, в этом садке не помещаюсь. Ну и что ж? Кому сейчас взбредет в голову спать, вольготно растянувшись во всю длину? Надо сжиматься в комочек, подоткнувшись одеялом со всех сторон. Иначе не сохранишь вокруг своего тела легкое, зыбкое облачко ненадежного тепла. Так что Димкина кроватка мне — в самый раз.

Тетя Соня и дядя Коля устроились в противоположном углу. Свой отсек они обставили деревянными нарами и столиком, смонтированным из двух чемоданов.

Материал для нар принес дядя Коля. Это створка плательного шкафа, по поводу приобретения которого до войны у них устраивалась веселая вечеринка с танцами. Нары — тоже энзе. Они приберегаются на самый крайний случай, когда нельзя будет для нашей буржуйки сыскать уже ни единой щепочки.

Если дома ночует дядя Саша, ему постилают на полу.

При «большой ночевке», когда мы все в сборе, разговоры не смолкают за полночь. Папа объявляет единовременный сеанс «парового отопления».

— Раз-и, два-и, три! — командует он.

Мы дружно надуваем щеки воздухом и, согрев его в себе, по команде же пускаем в потолок. Клубы белого пара, похожие на кучевые облака, поднимаются вверх. И так — несколько раз, пока кого-нибудь не разбирает смех. Вроде, и правда, становится теплее.

Зовут ее Галя...

Бесконечные декабрьские вечера мы коротаем при свете двух коптилок — электричества давно уже нет. Одну коптилку сконструировала мама, вторую — тетя Соня. Обе гордятся своей находчивостью. Мамина коптилка хитроумнее: над отверстием большой плоской масленки из-под машинного масла, бог знает где добытой, укреплена вертикально стеклянная пробирка. В ней — тонюсенький фитилек. Заправляется масленка чем придется — керосином, если есть, денатуратом, если есть, спиртом, тоже — если есть, и, на худой конец, цветочным одеколоном, флакон которого сохранился у дяди Саши. Коптилка горит жиденьким, зато устойчивым перышком огня. Тети-Сонина коптилка — попроще.

Кусок обнаруженного при уборке оранжевого воска для натирания полов перетоплен, залит в баночку из-под крема «Красная Москва» и снабжен фитилем из скрученной бечевки. Этот светильник горит поярче, но копоти от него!..

Однако тетя Соня твердо уверена, что ее «настольная лампа» лучше — при ней все-таки можно что-то иногда делать — поштопать, почитать. Свет экономим, коптилки зажигаем попеременно.

Как-то в сумерки, когда мама была уже дома, мы услышали в прихожей непривычную возню и чье-то прерывистое дыхание. Выскакиваю посмотреть — тетя Соня. Согнувшись в три погибели, она пыхтит и тащит на спине нечто, похожее на большой мешок.

— Ленка, мужчины есть кто? — выдыхает тетя Соня. — Скорей, помогите мне... Ну, скорей же!..

Выбегает мама. Втроем мы затаскиваем в комнату то, что показалось мне в сумерках мешком. Это человек. Девушка лет восемнадцать. Глаза ее плотно сомкнуты, руки безжизненно повисли.

— Соня, кто это?

— Ой, не спрашивайте, потом расскажу! Есть у нас горячая вода?

Тетя Соня и мама кладут девушку к нам на кушетку, я наливаю стакан кипятку из термоса, и мы, все вместе, стараемся влить ей в рот глоточек воды, массируем лицо, руки. Наконец девушка приоткрывает веки, опущенные заиндедевшими ресницами, — в комнате такой холод, что иней не тает...

Через два часа наша гостья уже может полулежать, опершись на подушки.

Мы предлагаем ей поесть: в ответ она заливается слезами, потом с дикой поспешностью проглатывает хлеб и блюдечко пшенной каши. Больше ничего у нас нет...

Девушка засыпает, укрытая пледом, а тетя Соня рассказывает:

— Я в подъезд уже завернула — и спотыкаюсь о что-то. Наклонилась, — в подъезде темно, не видать ничего толком. Гляжу — лежит, вот она. Застылая вся, ноги торчат, худые... Я сердце послушала. Стучит! Редко только очень, но стучит... Нет, думаю, нельзя так девку оставлять, помрет, замерзнет окончательно... Ну, взвалила ее себе на плечи, поволокла. А у самой — все дрожит внутри, сердце прямо останавливается, пятый этаж ведь, не шутка...

— Да что ж ты нас не позвала, — удивляется мама. — Сбегала бы наверх!

— Сбегала бы! А где у меня силы — два раза на пятый бегать? Я и так думала — не добреду...

Два дня девушку ни о чем не спрашивали. Она отлежалась, подкормилась чуть-чуть — и все молчала, только глазами поводила. Наконец, заговорила сама.

Зовут ее Галя. В дом, где жила Галина семья, попала бомба. Мать, сестренка, брат — погибли. Самой Гали не было — она ходила куда-то. Узнав страшную правду, потеряла сознание прямо на улице. Когда очнулась, карточек в кармане уже не было... Скиталась по подъездам, к знакомым идти не решалась — побоялась, что не приютят без карточек. Типичная блокадная трагедия...

Мама сняла с кушетки подушки, валик и составила из них нечто вроде лежанки. Лежанку расположили в центре, между двумя нашими отсеками, у камина. Тетя Соня постелила Гале чистую простыню — последнюю, извлеченную со дна чемодана. Папа достал свое драповое демисезонное пальто и предложил Гале в качестве одеяла.

Потом мы долго пили горячий чай без заварки и без сахара. То есть просто кипяток, но нам приятнее было называть его чаем.

— Ничего, — сказала мама. — Как-нибудь перезимуем. Вместе веселее будет.

Чрезвычайное положение

С появлением Гали продовольственный вопрос, естественно, обострился — ведь у нее нет карточек, а держаться надо. Но как? Мужчины наши вконец отощали. У них темные, с коричневатым оттенком, лица, острые кадыки на шеях и молниеносно отрастающая щетина. Более аккуратный дядя Коля бреется раз в два-три дня, по собственному желанию. У папы подобное желание возникает крайне редко. Из-за этого происходят неприятные конфликты.

У мамы и тети Сони кровоточат десны — цинга...

В таких обстоятельствах объявлено чрезвычайное положение. Вся полнота власти — в маминых руках.

Сложенные в разноцветную стопку карточки обобществляются. Выкупать (слово «покупать» исчезло из лексикона ленинградцев) хлеб поручено мне и Гале. Мы тратим на это по полдня, выстаивая километровые очереди. Стоим, обнявшись, изредка перешептываясь, радуясь, что нас двое... Остальные продукты выкупают старшие. Десятидневный паек — под строгим маминым контролем.

Наше пропитание предопределено на всю декаду. Каждый утром, днем и вечером получит немного еды. Пусть совсем, совсем немного — но все же получит. И в этом теперь есть уверенность. А это великое дело, когда есть уверенность.

Притрагиваться к пайку в неположенное время запрещено под страхом самой суровой кары. Такой карой является мамино ледяное молчание. Один раз отец, придя с работы особенно голодным, съел на ужин свой трехдневный рацион.

Видимо, ему так нестерпимо хотелось есть, что он, как вошел в комнату, так, прямо не раздеваясь, устремился к шкафу и в один миг проглотил содержимое трех кулечков. На другое утро мама, отделяя ему половину своего мизерного завтрака, не отозвалась ни на одно его словечко. И так было день, два, три, неделю... Папа с трудом заслужил прощение.

Правда, все мы втайне ему сочувствовали и подкармливали отца из своей доли...

Несмотря на чрезвычайное положение, бывало у нас и весело. Приходил красавец дядя Саша и бодро приветствовал всех:

— Ну что, живы мои дистрофики? Как дела?

Потом, лукаво взглянув на Галю, говорил восхищенно:

— И откуда это в блокадном Ленинграде берутся такие очаровательные барышни? Ах-ах-ах!..

Галя занималась бледненьким румянцем и утыкалась лицом в тети-Сонино плечо.

Иногда появлялся друг дяди Саши — Шурка Матвеев, капитан третьего ранга (корабль его стоял на Неве), чудак, неудачник, любитель поэзии и женщин. Всегда подтянутый, идеально выбритый, выутюженный, он вносил в дом лирический настрой. Мама лишний раз проводила гребенкой по своим уже поседевшим волосам, а было ей меньше лет, чем мне сейчас, — тридцать два), тетя Соня острила низким голосом. Шурка читал стихи Гумилева...

Долго говорили о событиях на фронте, о недавней победе под Москвой, которой бурно радовались, на чем свет стоит ругали союзников: сволочи американцы, что они, в самом деле, тянут со вторым фронтом! Судили, рядили и всегда останавливались на том, что мы еще «покажем немцам, где раки зимуют».

Горбушка

Галя оправилась немного от своего горя, отошла, привыкла к нам. Она милый, добрый человек. Немногословна, приветлива, хорошо умеет слушать других. Галю все любят и проявляют заботу о ее будущем.

— Я мог бы устроить тебя, детка, на эвакуопункт санитаркой, — предлагает дядя Саша.

У меня перед глазами встает школьная лестница, носилки, розовые, неподвижные лица мертвых... Нет! Нет! Это не для Гали.

— Не ходи туда, не ходи, — предостерегающе шепчу я своей новой подруге. — Там страшно! Очень! Я потом тебе расскажу!..

Зинаида Павловна готова взять Галю на свою продовольственную базу, где она директорствует, — грузчиком.

— Идите, Галочка, не пожалеете. Сыты будете.

Галя уже почти согласна, но в разговор со своей грубоватой прямолинейностью вдруг вмешивается тетя Соня:

— Нечего девчонку в свои махинации запутывать. И так прокормится.

— Я вам, Соня, ничего плохого, кроме хорошего, не делаю, — оскорбляется Зинаида Павловна и уходит, сердито проскрипев дверью.

Неожиданно Галя делает признание:

— Я шить люблю. У меня мама портниха. Была... портниха.

— Ну, с этой профессией нигде не пропадешь, — помедлив, откликается тетя Соня. — Чего ж раньше молчала?

И действительно, нового члена нашей коммуны «отрывают с руками» в первой же пошивочной мастерской. Она будет шить ватники и гимнастерки.

...Вскоре Галя получает зарплату и карточки! Прибегает домой, зареванная от радости:

— Карточки! У меня карточки! Ольга Сергеевна, вот держите! Только...

Вы не будете на меня сердиться? Я за сегодня хлеб уже выкупила. Вот...

Галя извлекает из сумочки хлебную горбушку.

— Понимаете, я заскочила в булочную — так, посмотреть, на всякий случай, а туда свежего хлеба привезли, и очередь небольшая. И мне до того захотелось Ленку порадовать! Пусть это будет ей от меня вроде как подарок с первой полочки, ладно? Не сердитесь, да?

Мама не сердится.

Она целует Галю.

А я — на седьмом небе! Вот это подарок так подарок! Целая горбушка!

Сначала я долго созерцаю ее, держа на ладони. Тем временем у меня в голове складывается подробный план, как лучше ею распорядиться, чтобы продлить удовольствие.

Во-первых, надо укрыться в укромном уголке — чтобы не дразнить остальных.

Во-вторых, начинать, пожалуй, надо с мякиша, постепенно выедая в куске нечто вроде коробочки.

В-третьих, хлеб буду не откусывать, а лишь легонько отщипывать губами шершавые крошечки. Если прижать их языком к небу и слегка посасывать, — хлебный вкус дольше сохраняется.

В-четвертых, когда останется лишь корка — «коробочка» — от нее руками, осторожнейшим образом, чтобы ничего не обронить, стану отламывать небольшие кусочки. Они чуть припахивают керосином. Их можно долго держать во рту и смаковать...

Вот такая у меня сложилась четкая программа действий. Согласно ей я и расправилась с незабвенным Галиным подарком.

Сильней слона

Чувство голода ни с чем не сравнимо. Оно непохоже ни на какое другое.

Ты постоянно в каком-то изнурительном нетерпении, беспокойстве.

Одолевает слабость, но нет сил и на месте усидеть. Чем бы ни занялся — чтением, разговором, уборкой, в мозгу, со скоростью часового механизма, звучит один и тот же мотив: есть, есть хочу! Хочу есть! Есть, есть хочу!

Хочу есть! Есть, есть хочу! Хочу есть! И так — до бесконечности, до головокружения, до тошноты...

Беспокойство гонит, заставляет двигаться, совершать какие-то действия, чего-то искать. Я брожу по комнате. Обследую шкаф. Отыскиваю в углу полочку завалившиеся крошки, зажмуриваюсь, чтобы бес не попутал, на «общественное питание». Пустую жестянку из-под сгущенного молока, выписанного тете Соне в женской консультации (она ждет ребеночка и ходит в консультацию каждые две недели), я разглядываю с жадной придирчивостью. Жестянка, конечно, выскоблена дочиста, но все же на желобочках доньшка кое-где застряли желтоватые засохшие блески. Их, пожалуй, можно подцепить ребрышком ложки. И тогда уже нетрудно вообразить себе, что во рту у тебя полно густого сладостного лакомства. Однако мираж быстро проходит и мотив возникает снова: есть, есть хочу! Хочу есть!..

Добираюсь до настенного шкафчика, в котором хранится домашняя аптечка.

Заглянула, собственно, так просто, без всяких особых надежд. Чем можно поживиться в аптечке? Но...

В прозрачных пробирках, заткнутых ватой, — этих пробирок много, штук пятнадцать, по крайней мере, — я вижу знакомые мне белые горошинки.

Гомеопатия! Такие шарики принимала до войны мама, и они водились в изобилии у нас на Васильевском. Я помню разговоры о том, что «эти гомеопаты делают чудеса» и что лекарства ихние принимать — одно удовольствие.

А раз удовольствие — значит надо попробовать. Высыпаю содержимое одной пробирки на ладонку и целиком отправляю в рот. Вкусно! Сладко! Возьмем вторую. Третью. Еще одну. Еще...

Пятнадцать пробирок я опустошаю за пятнадцать минут. Чудодейственные гомеопатические средства сходят за пару приличных конфет.

Вдохновленная успехом, я все чаще наведываюсь в аптечку. Оказывается, глицерин ничем не хуже меда. Две бутылочки густой прозрачной, приторной жидкости я уничтожаю в несколько глотков. Капли датского короля нравились мне и в раннем детстве, а теперь-то уж и говорить не приходится. А что там за пакетик? У-ю-юй! Сухая черника! И как это взрослые могли забыть про такое сокровище? Спрячу чернику у себя под подушкой и буду таскать оттуда по одной ягодке, чтобы растянуть подольше нежданное богатство.

Когда было съедено все, на мой взгляд, съедобное, я принялась за таблетки и порошки. Аспирин был горьким, но ведь и его можно, в конце концов, жевать, так же, как пирамидон, стрептоцид и другие медикаменты. Я бы выпила, наверное, и ландышевые капли, и микстуры, если бы кто-то из старших вдруг не обнаружил моих злоупотреблений, открыв аптечку за какой-то надобностью.

Узнав, что я за один раз съела «всю гомеопатию», мама лишилась дара речи, а папа побежал было вызывать скорую помощь.

— Так я же ее еще неделю назад съела, — невинно сообщила я.

— Ну все, — трагическим голосом сказал папа. — Все. Там же яд.

Взрослые люди такие горошинки принимают по одной в день, а десять штук могут убить слона!

— Значит, я сильнее слона.

Прогулка по улице Правды

Улица Правды, естественное продолжение нашей Большой Московской, перегорожена баррикадой. В этом районе баррикад очень много. Одна даже, со стороны Свечного переуллка, подпирает наш дом. Готовились к уличным боям, но поскольку до них не дошло, на грозных укреплениях обосновались мы, ребяташки.

В те редкие чуть потеплее, дни, когда мне разрешают погулять, я беру фанерку и отправляюсь на баррикады. На улице Правды баррикада особенно крута и скользко накатана. Машин нет, и я на своей фанерке качусь беспрепятственно по всей улице до первого встречного сугроба. Там можно приткнуться к снежной подушке, понаблюдать, что творится вокруг.

В угловом доме напротив — пожар. Последние этажи кажутся расплавленными. Пламя упругими атласными лентами остервенело трепещет на зимнем ветру. Пожара никто не тушит, воды нет... Особого любопытства у одиночных прохожих красный петух не вызывает. Дело обычное по военному времени. Кучка жильцов, расстелив на снегу байковые одеяла и сложив туда спасенный скарб, безучастно смотрит вверх... Куда они теперь?

У другого здания сметен снарядом фасад. Все пять этажей беспомощно обнажили свое нутро. Ячейки комнат похожи на театральные макеты — так же правдоподобны и так безжизненны.

На третьем этаже, на краю обрыва — пианино. На его лакированной крышке — пласты припорошенного кирпичной пылью снега... Незастланная кровать со свесившейся простыней... На оленьих рогах — шляпа, пальто... Ходики на цветастых обоях...

Беру свою фанерку и плетусь обратно. Навстречу мне твердо и прямо шагает молодой, хорошо одетый мужчина. Одной рукой он придерживает на плече запакованное и завязанное шнурочками тело... Так носят бревна. За ним вприпрыжку бежит маленькая девочка с косичками, моя ровесница... Кто у нее умер? Мама? И даже саночек у них, бедных, не нашлось... В горле у меня — комок. Догнать, предложить свою фанерку? Нелепо...

Саночки, саночки...

Саваны, саваны...

В ту зиму по улицам города потянулись они нескончаемой вереницей, детские саночки с длинными белыми свертками. Ноги умерших,

запеленутых в простыни, каменно вытянуты. Живые, горестно согнувшись, тянут за бечевку свой печальный груз. Сухо скрипят на сером снегу залатанные валенки...

Мои саночки, вернее, Димкины, тоже стоят у нас в прихожей — наготове.

Когда умерла та старушка, которая боялась выпить сырой воды, дядя Саша и папа отвезли ее на кладбище на саночках. Многодетная семья не раз пользовалась ими. Я боюсь взглянуть на саночки — они напоминают мне о том, о чем совершенно, совершенно не хочется думать. Выходя в прихожую, я никогда не смотрю в ТОТ угол...

Мне становится холодно. Домой! Домой! Но еще одно впечатление суждено мне пережить в этот день на улице Правды.

Через мостовую, наискосок, петляя, мчится растрепанная девчонка-подросток. Она ничего не видит вокруг, только чувствует, что за ней гонятся. В прижатом к груди кулаке — кусок хлеба, стиснутый так судорожно, что между костлявых посинелых пальцев вылезают червяки сырой липкой массы.

— Держите! Держите! Воровка! — истошно вопит женщина в плюшевой кацавейке, с трудом нагоняя девчонку. — Отдай! Дети у меня! Гадина!

Нагнала. Бьет по лицу, пытается разжать девчонке руку. Но это невозможно: хватка мертвая... Струйка крови стекает по щеке «воровки» на расплющенный мякиш...

— Что ж это я делаю, падла! — восклицает вдруг женщина. — Иди... — И закрывает глаза ладонью.

Девчонка, не двинувшись с места, не отвернувшись в сторону, запихивает в рот раздавленный, в красных расплывах, кусок. И глотает, глотает, не успев разжевать.

Потому что без воды...

И не туды, И не сюды...

Эту песенку бубнит себе под нос папа, собираясь на Неву за водой.

Водопроводные трубы давно насквозь промерзли, полопались, стакан воды почти так же бесценен, как хлеб. На Димкины саночки — никакого другого транспорта все равно нет — мама прилаживает трехлитровый бидончик, привязав его накрепко к деревянным рейкам. Бидончик обматывается также старым ватным рукавом, чтобы вода не промерзла. Больше трех литров мой отец, рослый 37-летний человек, сдвинуть с места сейчас не в состоянии. Рейс до Невы займет у него несколько часов, хотя она не так уж далеко. Можно брать воду из Фонтанки, она ближе, но про эту классическую речку ходят дурные слухи.

Говорят, что по ночам в проруби спускают трупы...

Мы давно не умывались. Так, только протираем изредка влажной ваткой лицо и руки. Одного тампончика хватает мне и маме. Развелись вши и нещадно кусают — но с этим приходится мириться: нельзя и помыслить о том, чтобы снять лыжный костюмчик и взглянуть, чего там такое делается. Мы с отцом как-то притерпелись, а вот для мамы, педантично чистоплотной, вши — хуже голода.

Время от времени разносится весть, что во дворе дома номер пятьдесят шесть из трубы идет вода. А ну, быстро! Я хватаю эмалированный чайник и — бегом к оазису. Где он — долго искать не приходится. Из всех подъездов выскакивают люди с кастрюльками, кружками и, обгоняя друг друга, торопятся в одном направлении.

Из подворотни дома № 56 уже высовывается хвост очереди. Он стремительно растет, загибаясь сначала за угол, затем опоясывая дом кольцами.

В узком каменном мешке — типичном ленинградском дворе — народ скручен плотной спиралью. Спираль эта медленно разворачивается, подталкивая меня к заветному источнику. Он скрывается в дальнем закоулке двора, над подвальным оконцем. Вокруг слабой струйки воды намерзли фантастические ледяные барельефы...

Чайник тяжелеет в моей руке. Приятное чувство. Вот я и обеспечила нашу коммуны водой на целый день. Благонравие распирает меня. Отнесу домой и вернусь — постою еще разок!..

Кто как устраивается

— Олечка, вы совсем не умеете устраиваться, — часто говорит Зинаида Павловна.

И она права — не умеем. Мы ничего не продаем, не покупаем, не меняем, живем на одни карточки да на те обеденные талончики, которые изредка подбрасывает нам дядя Саша.

Сама Зинаида Павловна устраиваться умеет. И неплохо. Вторая ее комната постепенно превращается в филиал той продовольственной базы, где соседка работает. И чего-чего там только нет — и мешочки с крупой, и кадушечка квашеной капусты, и бутылки с постным маслом, и даже целый ящик макарон, про который Зинаида Павловна сказала, что он принадлежит ее другу. Впрочем, о своих запасах она предпочитает не распространяться. Просто я один раз случайно заскочила в эту сокровищницу, запертую обычно на семь замков.

Меня мигом оттуда выдворили, но про макароны, поразившие меня, я все же спросила.

Несмотря на то, что от третьего мужа давно нет никаких вестей, Зинаида Павловна постоянно в прекрасном настроении и, как утверждает тетя Соня, «строит куры нашему Сашке».

В сущности, я не совсем справедлива к Зинаиде Павловне, во мне говорят личные обиды. Она по-своему добра — подкармливает маму, участлива и не однажды выручала голодающих жильцов нашего дома. Они ей весьма благодарны: будуар постепенно пополняется новыми вещами. То появится вдруг набор столового серебра, то китайский сервиз, то модельные туфли молочного цвета, то мохнатый коврик у постели. Отрезы шелка, драпа, коверкота складываются в кованый старинный сундучок, которого тоже раньше не было.

— Ася подарила, — показывает нам Зинаида Павловна голубой в крапочках крепдешин. — Еще бы ей не подарить: я ведь ей жизнь спасла!

Это верно, Зинаида Павловна спасла Асе жизнь. Ася, дочка профессора из восьмой квартиры, недавно умершего, пыталась покончить с собой. Она вскрыла на руке вены и села в кресло. Через несколько минут опомнилась и, зажав порез, выбежала на лестницу, по которой в это время поднималась Зинаида Павловна.

— Помогите, помогите, ради бога! — кинулась она к нашей соседке. — Я вас отблагодарю, все отдам...

Зинаида Павловна туго перевязала Асе руку повыше локтя и на следующий день отнесла ей тарелку супа. Сейчас же у Зинаиды Павловны прибавилось на руке золотых колец. Ася сдержала свое слово, и многое из профессорской квартиры перекочевало в уютный будуар с кафельной печкой.

— Олечка, думаете, с ваших композиторов вы будете сыты? Ну почему вы не хотите устроиться в столовую? Я могу устроить вас кассиршей, у меня есть блат. Решайте теперь, потом поздно будет — желающих не оберешься. Вчера одна кандидат наук приходила, пронюхать.

Но мама категорически отказывается.

Тетю Соню, которая раньше работала счетоводом, Зинаида Павловна «устроила» официанткой. Тетя возвращается домой поздно, валясь с ног. Она приносит с собой в судочке немного вываренных, горьких, черных макарон.

Накладывает мне в блюдечко, а потом мы с ней садимся клеить карточные талоны, используя в качестве клея те же макароны. Талоны нужны для отчетности. Я леплю их замусленными, грязноватыми рядами на тетрадные листы в косую линейку.

— Ох, Ленка, ты меня выручила, — говорит, зевая, тетя Соня и, ложась спать, укутывает худые плечи серым платком. «Тетя Соня тоже не умеет устраиваться», — думаю я.

Новый год

31 декабря 1941 года, утром, мама объявила: — Однодневная голодовка!

Новый год мы должны встретить, как подобает. Праздник есть праздник.

И праздник вошел в наш нетопленный, изрешеченный осколками снарядов дом.

Целый день мы в радостной суете. Назло ненавистным фашистам, которые рвутся к нашему прекрасному городу, назло бомбежкам, вшам, цинге, дистрофии мы будем отмечать Новый год весело! Будем смеяться, будем петь, будем плясать!

Подтянув потуже пояса, в старую довоенную коробку из-под торта откладываем свой скудный дневной рацион.

Краюшечки хлеба, маленькие, похожие на обмылки, кусочки плавленого сыра, пару солдатских сухарей, которыми угостил нас Шурка Матвеев, немного черной муки (из нее варится суп), мисочку тушеной хряпы. Мне поручено следить за целостью и сохранностью всех этих богатств. Но это все равно, что доверить волку стадо овец — нет-нет, я и отколупну чего-нибудь из картонки.

Подозреваю, что для того меня, по-видимому, в охранницы и посадили.

Взрослые озабочены выпивкой.

— Вот вам, держите шампанское, — дядя Саша торжественно ставит на стол завернутый в газету сверток.

— Неужели достал? — ахает мама. — Но где же, бог мой?

— Кто ищет, тот всегда найдет, — важно отвечает дядя Саша. — Разворачивай.

Что это?

Мама отскакивает от стола. Из клочковатых газет торчат стеклянные колбы, пробирки, в прозрачной жидкости плавают бурая лягушка, какой-то червяк, рыбина.

Дядя Саша покатывается со смеху. Знакомые учителя подарили ему кое-что из оборудования биологического кабинета одной разбомбленной школы.

Преодолев свой первоначальный ужас, мама сливает спирт в хрустальный графинчик. «Тварей» выбрасывают в помойное ведро. Папе

решено ничего не говорить до тех пор, пока не выпьет.

Поближе к вечеру в нашу комнату, самую просторную в квартире, соседи приносят кто что может: один красивую посуду, доцент Раппапорт, объявившийся в этот день, — белую камчатную скатерть, Зинаида Павловна — настоящий пирог с капустой.

Этот пирог среди наших блокадных закусок сияет, как солнце. Я и без того возбуждена, а тут прихожу в настоящий восторг. Вот это будет Новый год!

Мама и Галя со значительными лицами колдуют у стола. Сервировка первоклассная, но как расположить еду, чтобы стол не выглядел пустым, — это задача не из легких. На позолоченном фарфоровом блюде хряпа явно «не выглядит». А мучная тюря в роскошном соуснике?

Приносят и дрова — в буржуйке пылает веселое пламя. В последний момент влетает дядя Коля. У него есть для мужчин сюрприз — он раздобыл, вдобавок к биологическому спирту, две плоские жестянки сухого. Если его немножко подогреть на огне, он превратится в обыкновенный, жидкий.

Половина двенадцатого. Времени остается в обрез. Мама быстро скидывает ватные брюки и облачается в синее шерстяное платье — ее лучший наряд.

Сегодня папа специально ходил за ним пешком на Васильевский. У меня в голове красная лента, волосы распущены по плечам. Но всех затмевает Зинаида Павловна — на ней яркое шелковое платье и сверху казакин из тонкого коверкота.

— Для Сашки расстаралась, — низким голосом говорит тетя Соня. — Ну, пускай, пускай старается.

Но я не приемлю сейчас этого злорадства: за пирог я готова Зинаиде Павловне простить все, что угодно!

До Нового года — пять минут, сообщает торжественно репродуктор.

— Слышите, это Левитан! Слышите, как он говорит? Понимаете, что это значит?! — обращается к нам взволнованный папа.

Мы слышим, понимаем: диктора Левитана знают все ленинградцы. По интонациям его выразительного голоса заранее предугадывается, какой будет очередная сводка Совинформбюро.

Мерно, звонко бьют Кремлевские куранты. Стоя с поднятыми бокалами, мы сосредоточенно глядим на стрелки часов.

— Дорогие мои, — тихо произносит дядя Коля. — Чтобы не в последний раз.

По маминому лицу бегут слезы. Она не вытирает их, глаза у нее

светлые.

...Потом было много шуму, смеха, шуток. Папе сообщили, что в том спирте, который он пьет, три часа назад плавал... тритон. Папа демонстрирует, ко всеобщему удовольствию, полное отчаяние. Казус случился и с дяди-Колиным подношением — сухой спирт, пока произносились длинные тосты во здравие, застыл в рюмках, и его надо было добывать оттуда ложечками...

Завели патефон. Под «Синенький скромный платочек», который падал с опущенных плеч, дядя Саша галантно ведет в танце Зинаиду Павловну.

— Сашенька, почему вы никогда не зайдете ко мне чайку попить? — томно спрашивает она.

— Дела, дела, Зинуша, — ласково оправдывается дядя. — Как только освобожусь...

Зинуша кокетливо грозит пальчиком.

Дядя Коля сидит на кушетке, одной рукой обняв свою Соню. Они поженились, когда им было по шестнадцать лет... Они никогда не могут наговориться и вот так сидеть способны часами.

Слегка подвыпивший папа, фальшивя, затягивает «Полюшко-поле».

— Федька, ну тебя, ты совсем не умеешь петь, — смеется мама. — Высоко, чисто, как до войны...

Дед мороз угощает супом

Елки на Новый год дома у нас, конечно, не было. Зато первого января дядя Саша принес мне билет на детский утренник в одну из соседних школ.

Вернувшись домой, переполненная впечатлениями, я записала их в своем дневнике, хотя, несмотря на свою раннюю начитанность, писать грамотно не умела.

«2 января я пошла на елку там был концерт и обед из двух блюд и на третей было жале еще дали 50 грамм хлеба когда я пришла в школу там уже ждали ребята мы долго мерзли в коридоре в зале были другие ребята потом наконец нас пустили и там мы тоже изрядно мерзли и так замерзли что потом никак не могли атагрца сколько мы не балтали ногами все равно скоро начался концерт там показывали очень интересные номера например показывали очень смешно дядьку фокусы цирковой номер песни а потом концерт коньчелся и дед мороз пригласил нас обедать но обедать сразу нельзя была патамучто другие обедали потом и мы пошли обедать обед был такой на первое был суп с перловой крупой на второе была запиканка из черных макарон а на третье было жале потом дали подарки подарки были такие там была шоколадка, 6 пичений одна или две конфеты и сухафрукты».

Ребятишек, как могли, старались прикармливать.

В течение января я не раз бывала на таких елках. Часто половину «елочного» времени мы отсиживали в бомбоубежище. Зато кулечек с подарком доставлял острую радость.

День рождения тети Юли

Приближается день рождения тети Юли. Соблюдая традицию, раз в году все родные собирались по этому поводу у нее на Восемнадцатой линии.

Обрадованная, польщенная всеобщим вниманием, тетя Юля старалась вовсю.

Скудные сбережения тратились на дорогую колбасу, балычок, сыр. На горячее неизменно подавались прыскавшие соком сосиски с картофельным пюре и тепло «дышавшие» пироги. А потом — чай с кренделем и вареньями всевозможных сортов. И тут уж надо было сидеть долго, есть до отвала, хвалить закуску и подробно, заинтересованно обсуждать качество нынешних пирогов. Тетя Юля цвела, а родственники чувствовали себя размягченно, как люди, исполнившие свой долг. Пока все отдыхали от трапезы, я хозяйничала в тетиной комнате в свое удовольствие. Листала тяжелый альбом с плотными старыми фотографиями, на которых натянуто улыбались красавица-бабушка и дурнушка тетя Юля — в шиньонах, в платьях с «буфами». Заглядывала в картонный футлярчик из-под каких-то дешевых, еще дореволюционных, духов. В задымленном флакончике сохранилась капля темной, похожей на валерьянку, жидкости... Легкая серая пыль вздымалась из треугольной коробочки с пудрой «Белый лебедь»... В другом альбоме, потертом, плюшевом, с медной застежкой, красовались старинные поздравительные открытки, предмет моих вожделений: ангелочки в белых ночных рубашечках, веселые желтые цыплята у раззолоченного яичка, томная дама в огромной шляпе с пышными перьями.

С наступлением блокады и голода день рождения тети Юли засиял для меня далекой, прекрасной путеводной звездой.

Мне снились накрытый стол, добрая теткина улыбка и, в особенности, горячая розовая сосиска, повисшая на кончике вилки...

Накануне заветной даты я провела бессонную ночь.

— Посмотрим, какая будет погода, — сказала вечером мама.

Утром — к окошку! Метель... Все погребло!

— Мама, мамочка!..

— Лена, нам ведь не дойти, сама видишь.

— Дойдем!

— Нет, невозможно.

В слезах выбегаю в прихожую. Как сделать, чтобы мама согласилась?

Упрашивать ее бесполезно, она у нас кремень...

Вот если бы был бог!

Папа говорит, что нету его, что бога выдумали темные люди. А может, попробовать? Я ведь тоже еще маленькая, темная...

Сложив руки, как когда-то учила меня религиозная бабушка, я обращаюсь к грозному ленинградскому небу:

— Сделай так, чтобы мы пошли к тете Юле! Очень-очень-очень прошу тебя... Ну, чего тебе стоит? Сделай! (Назвать бога по имени я не решилась).

— Ленка, — зовет меня мама, приоткрыв дверь. — Живо собирайся. Вроде улеглось немного.

Ура! Помог! Хоть и нет его, а помог!

...Мы пускаемся в дальнюю дорогу. Стараемся идти энергично, но дома проплывают мимо, как в замедленном кино. Мама часто присаживается прямо на сугроб — отдышаться. В один из «присестов» лицо у нее делается землисто-серым, она плотно прикрывает веки и хватается меня за руку.

— Что ты, мамуся? Мама!

— Я думала, что уже не встану, что это — конец, — рассказывала мама вечером отцу.

Много ленинградцев вот так, в сугробах, кончали тогда свой путь. Присел человек на минуточку — и не смог больше подняться...

А тетка нас ждала! Жарко натопила свою светелку. Из серой обойной муки напекла блинчиков. Каким-то необыкновенно вкусным способом стушила в латочке хряпу и из фанерного шкапчика вытащила стаканчик черничного варенья:

— Сберегла для своей Ленушки...

Только приборов на столе почему-то не было...

Мирно стрекочут на стене жестяные ходики. Я лежу, поев досыта, на мягких подушках, мама и тетя Юля грустно шепчутся, перебирая имена родных.

Похоронили дядю Володю и Верочку... У Сони умер сынишка... Аннушка лежит в цинге... Толя погиб на Пулковских...

— Приготовила я все, — говорит тетя Юля. — А приборы-то не ставлю, плачу только. Кто в живых — не знаю, доберется ли кто ко мне — тоже не знаю...

Обед для Тагора

То один, то другой член коммуны вдруг сдавал. Первой слегла мама. У нее — дистрофия первой степени, да еще обнаружился туберкулез желез. Она ни на что не жаловалась, хотя пропитанные черным ихтиолом бинты — ими приходилось обматывать горло — приводили ее в отчаяние своим неопрятным видом, и лежала тихо-тихо. И все меньше были заметны контуры ее тела под старым ватным одеялом...

Однажды среди ночи я проснулась от беспорядочного шума. Дядя Коля поспешно открывал ключом дверь. Горела коптилка. Через потолок коромыслом перегнулась огромная папина тень. Голос тети Сони звучит хрипло, испуганно.

Она быстро, часто спрашивает:

— Оля? Оля? Что ты? Ну, что ты? Оленька? Пульс? Где пульс? Федя?!

Папина тень молниеносно перемещается в сторону буфета. Там спрятан полученный вчера декадный паек.

— Масло! Скорее!

Я еще толком ничего не могу понять спросонья, скована внезапным тоскливым страхом. Но при слове «масло» срываюсь со своего матрасика и ныряю в буфет. Ведь я лучше всех знаю, где здесь спрятан крошечный брусочек сказочного лакомства. Могу его найти не только с полуоткрытыми, но и с абсолютно закрытыми глазами!

Тетя Соня разжимает ложкой мамины, судорожно сжатые зубы и вместе с папой запихивает ей в рот скользкий желтый комочек.

Проходит одна томительная страшная минута, другая... Наконец, мама делает губами еле заметное движение. Глокает! Жива!

Тетя Соня плачет в своем углу. Отец долго сидит на стуле подле мамы, то и дело вытирая глаза краешком простыни. Вечно у него нет носового платка.

Утром мама слабо улыбается нам, просит попить, осторожно поворачивается на бок. Мы счастливы.

— Все-таки я гениален! — хвастается папа. — Никто другой про масло бы и не вспомнил. Я открыл новое лекарство — действовало безотказно!

После этого чудодейственного исцеления маму выхаживаем всей коммуной.

Дядя Саша выхлопотал для нее «усиленное питание». Три раза в день

я хожу к Пяти углам в душную подвальную столовую, где по особой справке мне выдают пшеничную кашу, иногда заправленную маргарином, а вместо хряпы — маленький катышек из конины. Он называется очень изысканно — тефтель. Мамин рацион я складываю в поллитровую баночку и бережно несу домой, все время опасаясь поскользнуться и упасть на мостовую.

Дома отец разогревает кашу, приговаривая:

— Сейчас наша милая мать получит царский обед! В этой столовой замечательно готовят. Мне рассказывали. Сам Рабиндранат Тагор не отказался бы от такого обеда!

Почему Рабиндранат Тагор? Кто такой Рабиндранат Тагор? Логика в папиных островах, как всегда, отсутствует.

Маму шутка тоже раздражает. Видимо, поэтому она решительно, хотя еще очень слаба, чтобы сердиться, отклоняет отцовские услуги.

— Что за болтовня? Меня Ленка покормит.

— Ни за что! Я сам!

— Нет, Ленка. Так мне хочется. Не спорь.

Когда я на пластмассовом подносике приношу маме тарелку с едой, она тихонько говорит мне на ухо:

— Загороди меня от папы спиной. Так. Теперь наклонись. Ниже, ниже. Теперь скажи «А».

— А!

Тефтель из конины мигом оказывается у меня за щекой. Папа, чуя недоброе, крутится неподалеку, стараясь заглянуть через мое плечо.

Чтобы усыпить его бдительность, мама причмокивает губами:

— Та-та-та, как вкусно! Тагору такие биточки и не снились.

Папа доволен. Меня терзают легкие угрызения совести.

Крокодила Семеновна

Где-то ближе к весне я снова стала ходить в школу. На сей раз не в подвальную, а в настоящую большую ленинградскую школу. В ней, одной из немногих в районе, вдруг возобновились занятия.

Рослая, вся какая-то узкая учительница, в очках, с «кичкой» волос на затылке, представилась нам:

— Ребята, у меня очень трудное имя-отчество. Я сейчас напишу его вам на доске крупными буквами: НЕОНИЛА ЗЕНОНОВНА. Мы тут же окрестили ее Крокодилой Семеновной. Крокодила была близорука, рассеянна, часто забывала, что она задала на дом. За малейшую провинность она наказывала — выгоняла из класса. Мне нравилась эта «эвакуация». Можно было спокойно обойти все пять этажей школьного здания, заглянуть в промерзший гулкий актовый зал, про который я думала, что там совершаются гражданские акты (слова эти попадались мне в книгах), сунуть нос в пустой химический кабинет, заставленный запыленными предметами черной магии, пошляться по вестибюлю.

В школе нетоплено, как и везде, поэтому на уроках мы сидим в пальто, ватничках, шубейках. Учительница мужественно приходит на уроки в синем костюме с широкоплечим мужским пиджаком. Но видно, что внизу у нее «поддето». Самый скверный момент — начало первого урока. Действует санитарная комиссия. Надо раздеться и предъявить ей нижнюю рубашонку. Вши, конечно, есть у многих, почти у всех. Тут же, усевшись за парту, надо их вылавливать, уничтожать, а потом опять «предъявлять» бельишко. Ох, и скверная процедура! Посиневшее тело дрожит мелкой противной дрожью, никак не просунуть ногу в штанишки, пуговочки у лифчика-жилетки не застегнуть негнуцимися пальцами. А тут еще насмешки мальчишек...

Отогреться удастся еле-еле только к концу следующего урока. В глазах Крокодилы Семеновны я угадываю сочувствие, но внешне она его никак не проявляет.

— Комаровская, опять у тебя в тетрадке нарисован крокодил (наивная наставница!) и опять ты болтаешь с Антиповым. Выйди из класса. Погуляй и подумай...

Коварное племя

В начале 1942-го года я представляла из себя маленького заморыша, слабого, дистрофичного с виду. Но характер у меня был общительный и жизнерадостный. В квартире меня любили, я редко унывала и с легкостью переносила блокадные трудности.

Общество сверстников меня возбуждало и радовало. Но жизнь сразу же преподала мне несколько суровых уроков.

И самый главный — нельзя доверять мальчишкам. Это коварное племя. Они злы, вероломны и не ведают жалости.

Мальчишки издевались над моей хилостью — сдачи я им дать не могла.

Другие девчонки от них бегали и прятались, но мне это почему-то казалось унижительным.

Кончатся уроки. Дойти до дому — пара пустяков. Но каких страданий мне стоила эта короткая дорога! Уже на последнем занятии я нервничаю и украдкой оглядываю наших представителей сильного пола. Кто из них будет сегодня меня лупить? И чем? Портфелем или пеналом? А может, просто станут расстреливать из рогаток? Швырять камнями? Хоть бы один защитил!

И один, действительно, предлагает мне свою защиту. В обмен на пестрый стеклянный шарик, который я любила вертеть в руках. Согласна ли я? Что за вопрос! Шарик исчезает в кармане Бушуя — Витьки Бушуева.

Договариваемся так: я выхожу из школы первая, а он догоняет меня на углу, чтобы наш союз не так бросался в глаза. От всех нападений он отбивается вместо меня.

Впервые на последнем уроке я сижу спокойно. Дружески подмигиваю своему рыцарю — Бушуй отвечает мне широчайшей улыбкой, показывая щербатые зубы: порядочек!

И он, действительно, нагоняет меня на углу. Сердце у меня тает от чувства признательности, надежности, я готова полюбить Бушуя. Но... что это он собирается делать? Ведь вокруг никого еще нет. Стоит ли преждевременно размахивать ранцем?

Цепь моих рассуждений прерывает удар по голове. Потом еще. Еще! Еще!

Ну гад! Вот гад! Какая я идиотка! Вокруг меня и Бушуя скачут и улюлюкают мои ежедневные мучители — молодец Витька! Вот это

позабавил! Все у них, оказывается, было обговорено заранее...

Прятелем Бушуя был некий Эдик, высокомерный, румяный пацан. Мать у него работала директором столовой. За школьным обедом, на который мы чаще всего получали суп из сушеной картошки, Эдик никогда ни к чему не притрагивался. Тарелка его оставалась полной! Это было выше моего понимания.

Тарелка Эдика владела всеми моими помыслами. Долго я крепилась, боялась, подавляя в себе гордость, прежде чем решила однажды — только однажды! — обратиться к нему с просьбой:

— Ты все равно не ешь, можно, я перелью себе немножко.

Эдик посмотрел на меня невидящим взором. Высокое презрение отразилось на его физиономии. И вдруг он завопил на весь зал:

— Комаровская объедков просит!!!

Я долго плакала, замкнулась в себе, стала ядовитой — обидно дразнила мальчишек и как-то даже пожаловалась Крокодиле Семеновне. Однако после моей «ябеды» стало только хуже.

Зойка-зайка

Потом я вдруг открыла для себя Зойку.

Сперва я ее просто не замечала. Она сидела на предпоследней парте, одна, и ничем не выделялась среди остальных ребят. Такая же тщедушная, укутанная в шарфики, кофты, платки — только нос торчит. Когда Крокодила вызывала ее к доске, Зойка, прежде чем ответить, долго думала. До того долго, что мальчишки начинали шуметь и отпускать ехидные замечания.

Но Зойка на это никак не реагировала. Она думала. И зато отвечала потом ясным, твердым голосом, без малейшей запиночки. Строгая Крокодила всегда ставила ей «отлично», и всем было очевидно, что это «законное» «отлично». Я тоже училась хорошо, хотя лентяйка была порядочная и редко утруждала себя приготовлением уроков: выезжала на эрудиции и умении болтать языком.

Основательности в моих занятиях не было. А у Зойки — была.

Как-то Крокодила затеяла всеобщую пересадку. Нужно было расстроить кое-какие мальчишечьи союзы. В результате я очутилась на той самой парте, где сидела Зойка. Она взглянула на меня оценивающе и ничего не сказала.

На другой день, в перемену, Зойка, порывшись у себя в карманчике, достала кусочек подсолнечного жмыха, похожего на халву. Я деликатно отвернулась. У меня за спиной послышался хруст: жмых разгрызали.

Когда я обернулась, Зойки уже не было рядом, а на моей тетрадке лежал влажный серый комочек.

— Ловко ты его разгрызла, — смущенно сказала я на уроке своей соседке, — как раз поровну.

— А я ведь зайка, — сказала Зойка, улыбнувшись мне впервые и показывая два больших, белых, в самом деле как у зайца, зуба.

Мы подружились.

Теперь я не была в школе одинока.

Третьи дворы

Совсем иначе потекла отныне моя школьная жизнь. Мы неразлучны с Зойкой.

Она живет близко от нас, на Разъезжей улице, и мы в условленный час встречаемся с ней по утрам, чтобы вместе идти в школу. Если объявляют воздушную тревогу и весь класс, во главе с Крокодилой Семеновной, спускается в бомбоубежище, мы забираемся с Зойкой в самый темный угол. Обнявшись, рассказываем друг другу всякие небылицы. Я, например, сообщаю ей, что на днях шла по Свечному переулку — и вдруг вижу, лежит кошелек. А в нем — ничейные талоны на обед в ближайшей столовой. Иди — и ешь. Вообще-то ведь могло быть такое, правда? Зойка, в свою очередь, врет, что ее пригласили к себе зенитчики. Дали «бабахнуть» по немецкому самолету, самолет взорвался и распустил по небу длинный черный шлейф дыма. За это зенитчики угостили Зойку настоящими горячими щами, не из хряпы, а из белокочанной, свежей капусты.

Ну, это-то ни в какие ворота не лезло, Зойка совсем завралась. Но ведь мы так и уговорились с самого начала — сочинять во все тяжкие.

Если не было слишком морозно, мы после уроков, даже не заходя домой, отправлялись в продолжительные странствия по окрестным дворам. Особенно любили мы обследовать и отыскивать третьи дворы.

В новых современных городах нет даже такого понятия — двор. Есть территория, «ограда». «У нас в ограде...», — говорят новосибирцы. В новых городах дома далеки друг от друга, как полустанки, и похожи, как бутылки молока. Другое дело в старом Ленинграде. Плотные, сомкнутые, как солдаты в строю, дома образуют как бы длинные крепостные стены, которые тянутся во всю длину улицы. Внутри квартала — целая система разнообразных дворов и двориков. Все они сообщаются между собой какими-то немислимыми проходами, лазами, так что и запутаться немудрено, и заблудиться...

Входишь в подворотню какого-нибудь большого дома, допустим, на Васильевском или в районе Невского проспекта. В подворотне тянет сырým сквозняком, пахнет керосином. Она выносит тебя в тесный каменный колодец. Со всех его четырех сторон смотрят высокомерные окна. Ни травиночки не пробьется сквозь серый асфальт. Однообразие подъездов «черных» лестниц нарушает только крытая стеклом вывеска: «Домоуправление» или «Утильсырьё».

Однако это только первый, парадный двор. Спрятавшаяся в дальнем углу подворотенка, пониже и посумрачнее и еще более пропахшая керосином, ведет во второй двор. Он может поразить вас неожиданностью формы — круглый, многоугольный или извилистый, как водопроводный шланг. Уже не все стены глазают на тебя окнами. Одна — слепо и тупо преграждает путь глухой кирпичной громадой. Это так называемый брандмауэр. Сколько их в Ленинграде!

И ни один не похож на другой. Безнадежен, безвыходен второй двор, он не оставляет никаких иллюзий. Ты пойман, попался, дальше пути нет...

Но опытные люди знают: быть такого не может! И в самом деле, если пораскинуть мозгами, один из подъездов начинает казаться «подозрительным».

Видится в нем какой-то слабый просвет, чудится еле уловимое дуновение ветра... Ага! Значит, здесь скрывается выход в третий двор. Точно, так оно и есть. Две ступеньки вниз, шесть вбок, потом немного вверх... И как ни грязен, ни мерзок скрытый от всех глаз третий двор, ты выбегаешь в него с чувством свободы и облегчения. Не все еще потеряно, еще можно выкарабкаться,дохнуть влажного питерского воздуха!

Вот за это-то ощущение и любили мы с Зойкой третьи дворы. Мы специально их разыскивали и даже соревновались, кто проявит в этих поисках больше сообразительности. У меня на счету было четыре найденных двора, у Зойки — пять. Кроме того, в третьих дворах мы чувствовали себя в безопасности. Когда начинался обстрел, мы со всех ног мчались туда и отсиживались среди нагромождений льда, мусора и дровяных кладочек. Нам казалось, что немцам ни за что не разглядеть, где мы спрятались, что о существовании третьих дворов им ничего неизвестно. И верно, сюда не долетал ни один осколок.

Витамины

Пахнет весной! Воздух пронизан светом, пригревает понемногу солнышко.

Вроде бы и надо ему, солнышку, радоваться, но Ленинград при ярких лучах удрученно разглядывает сам себя. Заметнее безобразие развалин, которые — на каждом шагу; не убравшийся за всю зиму снег растекается по мостовым и тротуарам грязными, вонючими, пузыристыми лужами. Наши любимые третьи двory, еще недавно сказочно разубранные колоннадами толстенных сосулeк, превращаются в настоящие клоаки, завалены нечистотами. А люди!.. На кого похожи люди! Изжелта-бледные, одутловатые, давным-давно не умывавшиеся как следует... Они медленно бредут по улицам, щурясь от света, покачиваясь на ходу, как пьяные. Витамины! Нужны витамины!

— Иначе мы все здесь передохнем. Как мухи. — Это заявляет папа.

И хотя мама резко обрывает его, обозвав паникером, отец, пожалуй, недалек от истины.

Мама опять лежит. Все время в одной и той же позе — на спине, чуть повернув на подушке голову. Подушка серая, лицо серое, волосы серые, серые глаза... Иногда, под вечер, пока еще не зажгли коптилку, кажется, что в постели никого уже нет. Это очень страшно. И я каждые пять минут окликаю маму:

— Ты спишь? Спишь?

— Нет... — еле слышно отзывается мама.

Я больше не поддаюсь на мамины уговоры «покормить ее котлеткой» и, когда она обедает, выхожу пройтись по коридору.

Я утратила свою обычную живость и часто впадаю в какую-то странную полудремоту. Даже забываю о том, что голодна, — не хочется разговаривать, не хочется двигаться, не хочется думать, не хочется читать... Я пропускаю школу, подолгу замираю, неподвижно свернувшись в своей зарешеченной кровати. И папа, если он дома, тоже часто окликает меня:

— Ленк? А Ленк?

Папа и сам-то похож на привидение. Длинный, ноги тощие, щеки завалились, глаза расплывчато бродят под бровями-лохматками, в которых появились седые ниточки.

Немногим лучше выглядят и остальные. У тети Сони изнурительный кровавый понос... Дяди-Сашино излюбленное обращение «Привет,

дистрофики» в такой обстановке уже не «звучит». Впрочем, он и сам избегает употреблять его — не на шутку встревожен нашим видом.

Да, необходимо предпринимать что-то решительное.

— Хорошо бы достать луковичной шелухи, — говорит дядя Коля. — В ней уйма витаминов.

О луке, разумеется, никто и не мечтает. Как-то само собой разумеется, что луку нет и быть не может, а шелуха — может. Ее и в самом деле за большие деньги или за хлеб покупают на барахолке. Дядя Саша жертвует на это дело свой дневной хлебный рацион (сам он все-таки кормится несколько лучше нас — у него военный паек). Папа, три часа протолкавшись на Кузнечном, приносит две пригоршни рыжевато-фиолетового мусора. Это и есть луковичная кожура. Ее долго варят в кастрюльке, и комната наполняется дразнящим луковым ароматом. Но едкий коричневый отвар омерзителен на вкус. Мы пьем его утром и вечером, по столовой ложке, боясь пролить на пол хотя бы капельку и тут же плотно завинчивая баночку крышкой: чтобы влага зря не испарялась. Толку, однако, особого не видно. Мы продолжаем хворать.

Однажды дядя Саша возникает дома в неурочное время. У него многозначительная мина на лице, как у человека, скрывающего важный сюрприз.

— Эх, вы, дистрофики, — обращается он к нам по-старому. — Киснете здесь и ничегошеньки не знаете, что на белом свете творится!

Он кладет на стол бумажный сверток.

— А ну, племянница, смотри!

В свертке — пересохшие сосновые хвоины.

— А зачем они?

— Чудаки! Что ваша луковая шелуха? Шелуха и есть. Вот настоящие витамины! Чудеса творят! Мне такие вещи рассказывали про эти иголки!

Сенсация! Ленинград спасен!

...Хвойный настой мы пьем литрами. Он освежает, взбадривает. И — о чудо! — у мамы исчезают на ногах темные цинготные пятна, а тетя Соня перестает стонать по ночам от рези в желудке. И папа уже не утверждает столь категорично, что мы все передохнем, как мухи.

Андрей Андроныч

Галя приходит из своей пошивочной сама не своя, какая-то растревоженная, возбужденная. Она машинально, без обычной ревностной домовитости, подметает комнату, выносит во двор ведра, смахивает с подоконников пыль. На мои вопросы откликается в замедленном темпе, переспросив предварительно:

— А? Что ты сказала? Я не слышала...

Несколько раз она, встав на маленькую скамеечку, придирчиво рассматривает свое отражение в закопченном стекле, которым увенчан наш камин. Зеркало расположено так высоко, что в него без усилий может заглянуть только папа. Впрочем, сейчас никто из нас в зеркале и не нуждается: мало радости убеждаться в том, что ты похож на Кощея Бессмертного.

Часов около восьми Галино беспокойство достигает предела. Она поминутно спрашивает, который час. На месте ей не сидится — все мерещится стук в двери. И она то и дело вылетает в прихожую с криком:

— Кто? Кто там?!

— Да что с тобой сегодня творится, девочка? — не выдерживает в конце концов тетя Соня.

Галя, секунду поколебавшись, обнимает тетю Соню и что-то горячо шепчет ей в затылок. Тетка широко улыбается, в то же время посылая маме непонятные сигналы глазами.

Однако мама все прекрасно понимает. Она достает из шкафа чистую салфетку и стелет ее на стол поверх клеенки. Ставит на «буржуйку» чайник.

Кристаллики сахарина — сахар почти не выдают по карточкам, и мы пользуемся «химией», — ссыпает из бумажного фунтика в стеклянную солонку. Мама во всем остается верной себе — она любит красоту и порядок...

Галя опять нервно метнулась к двери и исчезла за нею. Но на сей раз она возвращается не одна. На пороге возникает рослая фигура в солдатской шинели.

За ее плечами светится Галино взволнованное личико.

— Это мой знакомый... Ольга Сергеевна, тетя Соня, знакомьтесь... Вы не знакомы?.. — сбивчиво лепечет Галя.

Боец держится, наоборот, спокойно и с большим достоинством. Он

степенно обходит всех присутствующих, не исключая и меня, и каждому протягивает просторную красную ладонь со словами:

— Добрый вечер. Андрей Андроныч... Добрый вечер. Андрей Андроныч...

Добрый вечер, Андрей Андроныч...

— Проходите, Андрей Андроныч, присаживайтесь, отдохните, — хлопочет мама, пряча улыбку. — Вот табуретка. Вот кушетка.

Но Андрей Андроныч присаживаться не спешит. Он водружает на стол свой защитного цвета вещмешок и начинает обстоятельно развязывать его. Я во все глаза рассматриваю Галиного знакомого. Ему на вид не больше лет, чем Гале.

Он светловолос. У него небольшие, глубоко спрятанные за крутыми скулами, зеленые глаза, широконый розовый нос и очень определенные, крупные губы.

«Симпатичный, — думаю я. — И добрый, наверное». Тем временем Андрей Андроныч выкладывает на стол... Господи, что он выкладывает! Целую банку настоящих мясных консервов! Брусочек перламутрового сала! Три толстых, медвежьего цвета солдатских сухаря, какой-то узенький, длинный мешочек, перевязанный сверху шнурком, и пачку махорки! Мы потрясены. Галя смотрит на своего знакомого с немим восхищением. Сам же Андрей Андроныч совершенно равнодушно рассматривает камин, так, как будто он здесь ни при чем.

— А что в мешочке? — нарушаю я минуту благоговейной тишины. Я понимаю, что вопрос бестактен, неуместен, но удержаться не могу. Это выше моих сил.

Андрей Андроныч, ничего не ответив, развязывает шнурок и показывает «товар лицом». Это сахар!

— Есть куда высыпать? — деловито спрашивает гость. — А то мешочек из-под пороха, пригодится еще.

— Ну конечно, конечно, вот, пожалуйста, — мама подвигает Андрею Андронычу поллитровую баночку. — Давайте, я мешочек быстренько простирну и высушу...

Когда возвращаются домой папа и дядя Коля, у нас пир идет горой. В комнате витает дивный дух разогретой говяжьей тушонки. Мы грызем сухари, пьем сладкий чай. А Галин знакомый рассказывает солидным баском фронтовые истории — о том, как в разведку ходили и чуть «языка» не взяли, о каком-то снайпере Кулебяке, который свою снайперскую винтовку называет «пичужкой», и этой «пичужки» немцы ужасно боятся. Потому что Кулебяка уже уколошил двести гадов.

— А вы немцев тоже укокашивали? — кровожадно спрашиваю я.

— Приходилось.

— Сколько штук?

— Не считал, — сухо отвечает Андрей Андроныч. Мама, укоризненно посмотрев на меня, пытается переменить разговор.

Жаль!

Но допрос продолжает папа. Правда, его интересуют вещи иных масштабов: почему до сих пор нет второго фронта? Что себе думает английский премьер Черчилль? Когда снимут блокаду? Сколько вообще может протянуться война? На такие вопросы, пожалуй, не ответил бы сейчас и генерал. Но наш боец, глазом не моргнув, дает исчерпывающие пояснения. На второй фронт нечего особенно уповать — на них, сволочей-империалистов, надежда плохая. Черчилль думает только о том, чтобы нажиться на войне. Блокаду снимут скоро. Немцев тоже разобьем не сегодня, так завтра. Потому что они «ума не лишены, но ведь и мы не лишены тоже».

— Ай да боец! — восторгается папа. — С такими нигде не пропадешь!

Галя, судя по ее сияющим глазам, вполне разделяет папино мнение.

— Пара, — делает заключение тетя Соня после ухода гостя. — Молодчина, Галка, какого парня завлекла! А?

... Через месяц он вновь прибыл к нам со своим вещмешком и, выгрузив из него фронтовые гостинцы, затолкал туда немногочисленные Галины пожитки.

И оба они простились с нами.

— Пусть у матери моей поживет, к семье привыкнет, — объяснил Андрей Андроныч. — Получу трехдневный отпуск — распишемся...

В столовке

Из тех продуктов, что мы получаем по карточкам, нет никакого смысла готовить самим. Мы убеждаемся в этом после неоднократных неудачных опытов.

Как ни верти, а дома, кроме мучной болтанки да жиденькой горькой каши из пшена-сечки, ничего не придумаешь. Да еще эти бесконечные кулечки и дележки!

Надо окончательно и бесповоротно переходить на столовское питание, тем более, что мы отчасти уже им пользуемся: я обедаю в школе, а мама во время болезни получала «усиленное».

Раскрепление по столовым — дело запутанное и сложное. Почему-то все мы «приписываемся» в разных местах. Мама — на Загородном проспекте, в помещении бывшего ресторана. Там огромный, с высоченными потолками, зал и роскошнейшая, резного дуба, буфетная стойка. Она разукрашена барельефами, изображающими связки дичи, блюда с фруктами. За этой стойкой восседает закутанная в ватник кассирша и целый день выбивает метровой длины ленты талонов. Папа столуется где-то у себя на работе. Я по-прежнему обедаю в школе, а завтракаю и ужинаю в маленькой забегаловке, где раньше, видимо, была сосисочная или блинная. Там тесно, парно, и долго надо ждать, когда придет официантка и возьмет талоны. Дядя Коля прикрепился к столовой на Разъезжей улице. Случается так, что взрослые днем очень заняты и не успевают приехать в свои столовки поесть. Тогда мне поручается взять судочки, еще накануне выбитые талоны, обойти все столовые и забрать домой обеды. Я не люблю этим заниматься. Приходится долго высидживать в ожидании — самообслуживания тогда еще не было, сливать в судочки супы, желая и не решаясь отхлебнуть немного теплого варева, потом, по дороге домой, трястись от страха, что споткнусь, пролью, уроню, что кто-нибудь может просто отобрать у меня обеды. Ведь судочки на виду, их трудно спрятать в сумке.

И еще я не люблю ходить в столовки по другой причине: я часто становлюсь там свидетельницей человеческого унижения. И страдаю от этого, хотя еще мала и многого в жизни не понимаю. Вот сидит за столиком дама — в дорогой шубке, с покрашенными губами. Она долго выскребает тарелку ложкой, потом, приблизив к ней красивое, бледное лицо, никого не стесняясь, по-собачьи, сосредоточенно, вылизывает последние остатки

каши... Высокая старуха с седыми букольками над морщинистым лбом бродит между столов, попрошайничая:

— Оставьте ложечку, оставьте крошечку... Все возьму, золотенькая, ничем не побрезгую...

И, не дождавшись, пока ей подадут, протягивает костистую грязную руку к тарелке с хлебом... Обрюзгший мужчина в очках, весьма интеллигентного вида, затевает страшный скандал с официанткой: ему недодали каши, он же видит!

Воры тут все! Позвать директора! Жалобную книгу! Весы подать сюда! Весы не подают, он сам бежит со своей порцией на раздачу, взвешивает тарелку и убеждается, что его никто не обманывал. Но он продолжает скандалить...

А кормят в столовых всякими диковинными кушаньями. Например, на второе вы можете получить на выбор — биточки из дуранды или биточки из шрот.

Дуранда — это жмыхи, но не подсолнечные, которые считаются лакомством, а какие-то другие: черно-коричневые, тяжелые, горькие. Биточки из них внешне предательски похожи на мясные. Шроты — останки соевых бобов. Большая партия этих бобов была обнаружена в Ленинградском порту, она предназначалась для экспорта. Бобы тут же были пущены в оборот. Из них приготавливали соевое молоко, кефир, даже сметану. В итоге оставались шроты — соевые выжимки. Они представляют собой беловато-желтую чешуйчатую массу с тошнотворным привкусом. На третье — либо кисель из морской капусты, либо стакан соевого молока, либо хвойный напиток.

Кашу в столовках заправляют олифой — она вязкая, пахнет рыбой и квартирным ремонтом. Чай, конечно, на сахарине...

Жених

Учительница привела в класс «новенького» и посадила его сзади меня и Зойки.

Разглядываю его опасно — еще один «враг» прибавился? Однако новенький устрашающего впечатления не производит. Светлая челочка, кроткие голубые глаза, штанишки с перекрестными ляпочками — наши «бандиты» таких не носят. Белая рубашка вся увешена разноцветными значками, среди которых есть даже БГТО. «Можно не бояться», — думаю я. За обедом он аккуратно все съел и даже вычистил тарелку корочкой хлеба, которую благоразумно сохранил до конца трапезы.

Зовут его Вовочка. Не Вовка, а именно Вовочка.

Сначала мы мирно сосуществуем с ним. А затем...

Затем все пошло, как в романах.

— Леночка, я хотел бы тебя сегодня проводить домой, — заявляет однажды Вовочка.

Обманутая Бушуем, я пожимаю плечами:

— Сама дойду. Если хочешь, беги сзади.

— Побегу.

И бежит. У моего подъезда Вовочка, слегка запыхавшись, просит:

— Наклонись ко мне (я значительно выше его ростом).

Что это он хочет мне сообщить? Секрет? А вдруг — ударит?

Но моей щеки касается... легкий поцелуй (?!). Я озадачена, а Вовочка, зардевшись, стремительно убегает.

Ну и ну! Ненормальный он, что ли?

На другой день Вовочка встречает меня бледный и решительный.

— Леночка, я тебе все скажу. Я люблю тебя уже целую неделю. И буду любить всю жизнь. Когда вырасту, мы обязательно поженимся.

Свидетелем этого объяснения был весь класс. Что тут поднялось!

— У-у-у! А-а-а-а! Жених и невеста, соленое тесто! Ленка дура, хвост надула! Жених и невеста, соленое тесто!.. Неоила Зеноновна, Климчук на Комаровской женится!

Какой позор! Я не знаю, куда глаза девать, сижу, вжав голову в плечи.

Никогда, никогда эти уроки не кончатся... Проходу мне не дадут теперь. Даже Зойка презрительно помалкивает. Что делать?

И хотя, признаюсь, мое недоверчивое сердце дрогнуло от неожиданного признания, я грубо, глотая слезы, прошипела Вовочке в лицо:

— Ты, слышишь, заткнись раз и навсегда, дурак!

Так я предала своего рыцаря. А он? Ничего не ответив, взял мою руку и — при всех — поцеловал ее...

Невзирая на общий бойкот, Вовочка по-прежнему провожал меня домой, тихонько подкладывая в парту красивые старинные открытки, изредка совал коротенькие записочки: «Я тебя люблю», или «Ты красивая». И — что было самым невероятным — за обедом приберегал для меня свой компот!

...Через год мы расстались с ним — Вовочка перешел учиться в другую школу.

А сейчас, когда мой сын старше Вовочки на три года, мне думается: сколько истинного благородства было в этом голодном восьмилетнем малыше! Он уже тогда был настоящим мужчиной: пронес свои чувства сквозь издевательства и насмешки. Простил меня, предавшую его...

В баню

— В баню! В баню! Завтра мы идем в баню! Мама, представляешь, в ба-ню!

Мама представляет. Еще бы, ведь мы не умывались по-настоящему всю зиму.

К этому культпоходу, объявленному школой, мы готовимся как к большому событию.

У соседей раздобывается мочалка, предмет, совершенно было исчезнувший из нашего обихода. А мыло? Хорошего мыла дома нет. Черносизый «хозяйственный» обмылок, которым пользуется вся наша коммуна, разумеется, не годится для такого торжественного случая.

— Идем на барахолку, — решительно говорит мама. — Возьмем из энзе последний тюбик с витамином «С» и обменяем.

Надо знать мою маму, относившуюся ко всякой блокадной купле-продаже с отвращением, чтобы понять цену этому поступку.

На барахолке мы долго бродим, зорко приглядываясь к сверточкам, разложенным на тротуаре. Наконец — удача!

У одной тетки в руках сверкает разноцветная обертка душистого мыла «Кармен», с которой победоносно взирает на толкучку горделивая синьорита.

Интуиция подсказывает нам, что делать. Мы с независимым видом приближаемся к тетке и молча, уверенно протягиваем ей тюбик с витамином.

Она, также потрясенная, вручает нам мыло. Зинаида Павловна, правда, ругала нас потом, утверждая, что за этот витамин мы могли бы приобрести по крайней мере персидский ковер.

Но к чему нам ковер?

С вечера я в нетерпении. Складываем банные принадлежности. Рубашечку.

Трико. Чистое платье. Самое лучшее наше махровое полотенце в широкую полоску. Белый платочек, повязать им голову. И — два крохотных бутерброда.

Этот «завтрак» упрятывается как можно дальше в одежду, чтобы, не дай бог, я не потеряла его по дороге. В яркую пластмассовую мыльницу — под розовый мрамор — бережно погружается «Кармен».

Школа гудит всеми пятью этажами. Поход в баню — общий, ведут и

первые, и вторые, и десятые классы. Настроение у нас приподнятое, благостное.

Длинной колонной, построившись по четверо, мы приближаемся к воротам чистилища — кособокой, распаренной от влаги, занозистой двери, над которой прибита заржавленная вывеска — «Бани».

— Наверное, тут много бань, — предвкушаю я, — и мы все прекрасно разместимся (до войны-то меня всегда купали дома, в ванной, жарко натопив медную колонку).

Но меня ждет разочарование. Баня всего одна — и очень тесная. Два отделения, каждое из которых не больше нашей комнаты. И скверный предбанник со скользким холодным полом, уставленный запотевшими шкафчиками. Но, тем не менее, — здорово! Сейчас будем мыться! Я сяду на лавочку и попрошу Зойку потереть мне спину — ведь, по слухам, в бане все только тем и занимаются, что мылят друг другу спину.

Однако через пять минут становится ясно, что можно рассчитывать только на свои силы. Ребят в предбаннике все прибавляется. Узелки с бельем, не влезая в шкафчики, громоздятся один на другой, превращаясь в настоящую свалку. Бутерброды! Мои бутерброды! Их раздавят! В полном отчаянии я ныряю в гору тряпок, ощупью отыскиваю свою сумку. Тем временем уже впускают в мыльню, около которой мельтешит толпа маленьких дикарей с острыми коленками и торчащими ключицами. Поскальзываясь, догоняю свой класс, так и не рассеяв страшной тревоги.

Что творится в мыльне! Шаек уже и в помине нет, голые спины с грязными подтеками крутятся, яростно проталкиваясь к медным кранам. Из кранов попеременно идет то ледяная вода, то неукротимой струей бьет крутой кипяток.

Визг, вопли, хохот, плач, попискивание, всплески, шлепки. Ад кромешный!

Зойка растворилась в клубах пара... Я просто представить себе сейчас не могу, как мне удалось тогда помыться и даже вспенить на голове с помощью прекрасной «Кармен» белоснежную шапку. Тем более, что действовать приходилось лишь одной рукой, ибо второй надо было крепко сжимать мыло, впившись в него ногтями, дабы не выскользнуло. Но все-таки я помылась!

Когда девочки уже кончали омовение, деревянная клеточка, отделявшая нас от «мужчин», была сметена под их натиском. Гнусные мальчишки устроили дикий перепляс, тыча в нас пальцами и покатываясь со смеху. Но поскольку девчонок было много, этот выпад не произвел должного впечатления. Смущены были только учителя, которые в этой

разнополой орде тщетно пытались навести порядок.

Согласитесь, что повиноваться голому педагогу довольно трудно.

... Бутерброды мои, конечно, пропали. Кто-то с безошибочным нюхом все-таки нашел их среди моего бельишка. Жалко было, очень жалко, но блаженство ощущать себя чистой, знать, что пока еще по тебе не ползает не единая вошь, возмещало потерю.

Ресторан «Квиссисана»

— Завтра возьму тебя с собой обедать в «Квиссисану». Меня туда перекрепили, — говорит папа.

«Квиссисана» - фешенебельный ленинградский ресторан на Невском (сейчас там расположено кафе «Север»). Папа, смакуя подробности, часто вспоминает, как до войны он со своими друзьями однажды ужинал в «Квиссисане»:

— Сначала мы попросили маринованных грибов... Белые, представляете?

Потом солянку мясную. Ленка, ты даже не знаешь, что это такое. Жирная, с маслинами и сосисками, и баранина, и почки всякие... И горячая она — рот обожжешь. Ну и, конечно, на второе — котлету по-киевски. Белая курятина наверхена, а внутри кусок холодного сливочного масла. Нет, вы подумайте только, масло было холодное, а котлета сама с пылу с жару! Оля, то-то помнишь?

— Помню, а что толку, — трезво отзывается мама. — Себя только растравлять.

Но я готова слушать папу часами.

И вот мы приближаемся с ним к этой знаменитой «Квиссисане». Стеклянные витрины, где золотом выведено название ресторана, заложены мешками с песком.

Однако дверь открывает высокий швейцар в ливрее, которая, хотя и висит на нем, как на вешалке, тем не менее выглядит внушительно. Широкое зеркало благородного желтоватого оттенка, пальмы в кадках, красные бархатные драпировки.

— Будьте любезны, — вежливо приглашает швейцар. — Во втором зале есть свободные столики.

— Блокада, блокада, а марку держат, — восхищенно говорит папа. — Я знал, куда прикрепиться.

У меня возникает сумасбродная мысль: а вдруг нам сейчас подадут киевскую котлету? Или солянку?

В кассе мы выбиваем талоны и садимся за стол, покрытый белоснежной скатертью. Тяжелые тарелки, массивные блестящие ложки и вилки.

— Давай, Ленка, вообразим, что мы в довоенном ресторане, — предлагает папа, словно угадывая мои тайные помыслы.

И мы начинаем увлекательную игру. На закуску нам приносят шроты.

— Какой отменный салат, — говорит папа.

— И сколько сметаны! — отзываюсь я. — Как им не жалко!

Традиционная хряпа сходит у нас за грузинский суп-харчо.

— Остро слишком, — жалуется папа. — Чуть бы поменьше перцу.

— Да нет, в самый раз.

Котлеты из дуранды мы встречаем бурным ликованием.

— Нигде не умеют приготовить свиную отбивную так, как здесь! А гарнир?

Всего в меру — и картошечки-фри, и спаржи, и цветной капусты... Э, Ленка, Ленка, так не годится! Ты не умеешь играть...

Ткнувшись папе в плечо, я отчаянно плачу. Дуранда не выдержала конкуренции со свиной отбивной.

— Пошли домой, маленькая, — тихо говорит папа. — У меня там для тебя кое-что припрятано.

Ящик, принадлежащий другу

Я просыпаюсь от шума в квартире. Горит коптилка. Из коридора доносится резкий голос Зинаиды Павловны:

— Что же это творится?! Грабеж среди бела дня!.. «Где же бела, когда сейчас темная ночь», — сонно размышляю я.

Входит полуодетая мама. Лицо у нее растерянное.

— Федя, она сказала, что никому не верит. Неужели она сможет и на нас подумать?

Папа очень сердит.

— От нее всего ждать можно.

Он идет в коридор, пробует успокоить соседку.

— Ящик принадлежит моему другу, — негодует Зинаида Павловна. — И вы мне, Федор Данилыч, ничего не говорите. Я так этого не оставлю. Я тут всех выведу на чистую воду!

Ага! Макароны пропали! Так ей и надо. Но кто же в самом деле мог их подхватить?

На другой день я с нетерпением жду милицию. Наверное, это будет детектив в шляпе, с револьвером в боковом кармане. Вроде Шерлока Холмса. Он пройдет по всем комнатам, исподволь выведывая разные подробности у жильцов. Поскольку я твердо знаю, что ящик никто из наших украсть не мог, за исход расследования я спокойна. Но сыщик не приходит — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

Роль детектива берет на себя сама Зинаида Павловна. По вечерам она с карманным фонариком, крадучись, пробирается по коридору, изучая следы на паркете. Какие-то царапины ей удается обнаружить, о чем она и сообщает нам с торжеством. Но загвоздка в том, что царапины есть и у нашей двери, и возле покоев Раппапорта, и на пороге комнатушек многодетной семьи. Кто же похититель?

На подозрении вся квартира.

— Жить противно, — говорит папа.

Ранее вежливая, Зинаида Павловна теперь внезапно, без всякого стука, распахивает нашу дверь. Она, как ищейка, делает круги по комнате, принюхиваясь к углам, воздуху. Если в это время мы готовим что-нибудь на буржуйке, она, как бы невзначай, смахивает рукавом халата крышку с кастрюльки. И небрежно извиняется:

— Ах, простите, я так неосторожна...

Мама в таких случаях сидит подавленная, беспомощно положив руки на стол. Она больше не ходит к Зинаиде Павловне на «вышиванье» и чаепитие.

Атмосфера сгущается. Проклятые макароны вносят разлад в нашу, прежде довольно дружную квартиру.

— Сама спекульнула, а на нас взвалить хочет, — высказывает предположение прямодушная тетя Соня.

— Ну, зачем так плохо думать о людях? — возражает мама. В отличие от Зинаиды Павловны, она продолжает всем верить.

Потерпевшая ежедневно обходит дозором квартиру. Она притрагивается к замочным скважинам, задает «неожиданные» вопросы:

— Что ты утром кушала, Леночка? Только соевое молочко? А может, уже не помнишь, может, еще что было?

— Как это «не помнишь»? — недоумеваю я. — Прекрасно помню.

И зачем такую ерунду спрашивать? Разве можно позабыть, что ты ел? Да я за всю зиму, день за днем, могу свое меню рассказать!

Как-то, совершая пробег в сторону кухни, я натыкаюсь на Зинаиду Павловну. Прижавшись к стене, она стоит в карауле у раппапортовских дверей.

А однажды, случайно, становлюсь свидетельницей диалога Зинаиды Павловны и дяди Саши.

— Александр Данилыч! Отчего вы так упрямитесь? Вы же знаете, как я скучаю. Приходите завтра вечером, и я больше не заикнусь об этом ящике. Я другой достану — для вас...

— Не надо, Зинуша, не надо мне ваших ящиков...

Ящик так и не сыскался. Тайна его исчезновения похоронена в недрах большой блокадной квартиры. Возможно, права была тетя Соня. Возможно, ящик-таки взяли терявшие рассудок от голода многодетные. Кто мог бы стать им судьей? Но утверждать ни того, ни другого я не берусь.

Казнь для гитлера

Однажды утром папа принес номер «Ленинградской правды» и сказал: — Гитлера убить мало! Почитайте, что он с нашими людьми творит.

В газете — сообщение о немецких зверствах на оккупированных территориях. Выколотые глаза, головы детей, размозженные об угол дома, заживо погребенные, виселицы...

Я слушаю, как тетя Соня прерывающимся голосом читает вслух газету, и чувствую, как меня — это почти физическое ощущение — переполняет чувство отвращения и горя. Все, о чем читает тетя Соня, я вижу так подробно, так живо, что затыкаю уши руками — чтобы не слышать воплей замученных. А как бы кричала я сама, если бы меня стали пытаться такими пытками?

Ненавижу Гитлера!

Ненавижу!

Я тоже, как и папа, считаю, что его мало убить. Нет, это он слишком просто отделается! Его надо уничтожить каким-нибудь особенным образом.

Казнь Гитлеру я придумывала часами. Повесить на сосне? Ну уж, нет!

Надо, чтобы он, изверг, подольше помучился, как те, которых он приказывал истязать своим фрицам и гансам. Самые инквизиторские пытки приходят мне в голову. Например, посадить его в клетку, выставить на площади — и не кормить. Абсолютно не кормить. А вокруг все люди будут есть сардельки и лизать эскимо. А он пусть смотрит и медленно подышает с голоду.

Или: приковать Гитлера к столбу, и каждый, кто хочет, пусть отрезает от него по кусочку.

Или: по одному волоску выщипывать у него мерзкие усики и хулиганскую челку, а потом — прирезать как свинью.

Или: печь его на угольях, пока не взвоят. А потом отдать шакалам.

Я изощрялась в жестоких выдумках. И все мне казалось, что фашист наказан недостаточно.

Как-то я поделилась своими помыслами в классе.

— А я бы его исколола швейными иголками, — сказала одна девочка, дочь портнихи.

— А я отдал бы на растерзание медведям, — добавил Витька Бушуев.

— А я сбросил бы со скалы...

— А я — с луны...

...Тысячи смертных приговоров были вынесены в тот год Гитлеру маленькими ленинградцами. Исход войны предрешался нами без всяких сомнений и колебаний.

Картофелина

В этот солнечный, уже совсем теплый день явно должно было случиться что-нибудь необычное. Так оно и вышло.

Мама вдруг ни с того ни с сего сказала: — Чего это я хожу, как чучело гороховое? Вот возьму сегодня и оденусь по-человечески. Пусть будет маленький праздник по поводу красного солнышка.

— Правильно, Оля, — отозвалась тетя Соня. — Сейчас мы тебя снарядим.

И маму начали снаряжать. Долой брюки и ватник. Вместо них бостоновая юбка и тети-Сонина желтая шерстяная кофточка. На шею — горжетка из куницы, прихваченная еще с Васильевского. До войны ее надевали мне поверх пальто.

Скрученные жгутиками косички тоже никуда не годятся. Общими усилиями маме, из ее уже совсем седых волос, сооружают замысловатый «фризур», истыканный шпильками. Фильдеперсовы чулки (неважно, что все пятки штопаны-перештопаны) изящно облегают ноги. И, в довершение всего, мама красит себе губы помадой морковного цвета — первый и последний раз в жизни. Ее молодое строгое лицо неожиданно становится кокетливым и даже чуточку легкомысленным.

— Красотка! Да ты у нас красотка! — ахает тетя Соня. А папа, онемевший от восторга, лишь разводит руками.

Я прыгаю вокруг мамы:

— Ты такая нарядная! Возьми меня с собой! (Мама собирается в столовку).

Но мой ватничек и чувячки никак не соответствуют столь изысканной элегантности. Остается только, прильнув к окну, следить, как наша «модница» переходит улицу. Мужчина в черном пальто оглядывается ей вслед. Среди редких неуклюжих пешеходов мать выглядит как залетная райская птица. Так, во всяком случае, кажется мне.

...Мамы нет довольно долго. Наконец, я снова вижу ее через окно. Она почему-то бежит, хвостик горжетки развеивается у нее за спиной. Что такое?

— Ленка! Леночка! — мамин голос срывается, она запыхалась. — Угадай-ка, что у меня есть?

— Бомбошка!

— Нет, нет!

— Запеканка из шрот!

- Холодно!
- Желе из морской капусты?
- Совсем холодно!
- Горбушка?
- Еще холоднее!
- Соевое суфле? Тоже нет?

Список блокадных лакомств почти исчерпан, больше ничего мне на ум не приходит.

— Ладно, — говорит мама. — Закрой глаза!

Я честно зажмуриваюсь.

— Ну, смотри! — в мамином голосе слышится нескрываемое торжество.

На самой середине стола покоится... картофелина.

Да, да, настоящая, живая, свежая картофелина! С мой кулачок величиной.

Бежево-серая, с одним кругленьким хорошеньким отросточком, со следами высохшей земли на бочках, с карим глазком на округлой макушке!

Не верю своим глазам. Чувствовала я, чувствовала, что сегодня произойдет что-нибудь невероятное! Щупаю, взвешиваю на руке тяжеленький шершавый клубень. Осторожно отдираю ногтем клочок кожиры — виднеется бело-розовое сочное «мясо»...

— Мамочка, миленькая, где ты достала?

— Сижу за столиком. Рядом женщина. Одной рукой придерживает сетку с бумажным свертком. Я еще подумала, что у нее там такое может быть? Поела она и ушла, я случайно взглянула на стол — вижу, лежит картошина! У меня даже сердце зашло. Взять, не взять? А вдруг женщина сейчас вернется? Я даже встала и пошла ее искать, а сама успокоиться не могу. Но ее и след простыл.

Тут другой страх: вдруг картофелину уже обнаружили и унесли? Но она была на месте, спинка стула ее от всех загорживала. Ну, тогда я и решилась. И — бегом домой...

Что делать с чудесной находкой — решали всей коммуной. Изжарить?

Сварить? Сварить и потом изжарить? Постановили: варить в мундире, чтобы не было никаких «потерь». Как самой маленькой, целиком присудить находку Ленке...

Пока варили ее в алюминиевой кружке, все сидели вокруг буржуйки и смотрели. Бережно сняли острием ножики шкурку. И на красивом блюдечке преподнесли мне.

— Ешь, Ленка, на здоровье!

— Нет, уж вы хотя бы попробуйте!

Прежде чем приняться за рассыпчатый, диковинный, ароматный деликатес, я, для очистки совести, обошла всех, и каждый отщипнул микроскопический кусочек. А затем взрослые отвернулись, чтобы я наслаждалась жизнью совершенно спокойно.

И я наслаждалась. Сполна. До глубины души.

Так, как никогда уже ничем не наслаждалась впоследствии.

В компании Эйтов

— Дочка-то какая худенькая у нас, цыпленок задрипанный...

Мама одной ладонью сжимает мои запястья. Будь у меня третья рука, она тоже поместилась бы там без всякого труда. Родители мои начинают всерьез тревожиться.

— Ленку необходимо поддержать, — говорит папа.

Всемогущий дядя Саша берется кое-что предпринять. И скоро я становлюсь счастливой обладательницей путевки в районный стационар.

— Нам просто повезло! — радуется отец. — Целый месяц будешь усиленно питаться. Великое дело делают, шутка сказать, в такое время детей от голодной смерти спасают.

Увязываем узелочек с вещичками. В последнюю минуту мне хочется плакать.

Мысль о том, что в стационаре спасают от голодной смерти, вдруг делает эту самую смерть ощутимой, хотя я обычно о ней не задумываюсь.

...Высокая-высокая палата. Огромные окна наглухо закрыты чугунными решетками. Штукатурка на потолке и стенах от сырости вздулась пузырями. Я пристально вглядываюсь в их причудливые очертания, отыскивая человеческие профили, силуэты животных. На потолке мне чудится отпечаток босой ступни. В сумерки я вспоминаю рассказы о лунатиках, как они бродят при лунном свете по карнизам и потолкам и ничего не боятся. Наверное, тут тоже лежал лунатик...

Палата плотно заставлена железными койками. Настолько плотно, что между ними нет даже проходов. Когда приносят обед, тарелки передаем из рук в руки.

В палате нас человек сорок. Разговариваем мы между собой мало. Я так и не узнала, как зовут моих однокашников. Мы все обращаемся друг к другу просто: «Эй, ты!» Все эйты одеты в бязевые рубахи с порванными воротами и подолами. Мне не хватило места и я лежу у самой двери, на какой-то деревянной полочке. В известном смысле это даже лучше — еда достается мне в первую очередь.

Тянутся нудные дни. Читать нельзя — мало света. Холодно, и мы лежим, по уши укрывшись байковыми одеялами. Вставать не разрешают.

— Чтобы сохранить энергию, — объясняет врачаха.

Она приходит каждый день, но так как пробраться между постелями невозможно, долго стоит в дверях, обозревая палату и выкрикивая:

— Ты, эй ты, слева, в углу, как себя чувствуешь? Ничего? Ну и чудненько. А ты, рядом? А пятый справа?..

Врачиха похожа на полководца, обзирающего поле битвы.

Тут и в самом деле идет битва — за нашу жизнь. Нас сытно кормят. Не очень вкусно, конечно, — пшенная сечка, конина, соя, соя, соя, — зато обильно. Ежедневно мы получаем прямоугольничек масла, сахарный песок на блюдечке, который можно постепенно слизывать языком. Мы понемногу оживаем (вначале некоторые ребята могли лишь глазами ворочать), хочется движения. Мы ползаем по кроватям, деремся, но не сильно.

Все чаще меня охватывает тоска по дому. Несмотря на сытость. Я даже собиралась сбежать из стационара и даже пустилась в странствие по коридорам в чаянии отыскать свою одежду. Но меня тут же шугнули.

Несколько раз в день и разок ночью эйты объединяются в группировки для походов в известное место. Сперва безлюдными стылыми коридорами, потом по черной лестнице на первый этаж, потом по каким-то смутным закоулкам...

П-фф-фф! Ничего не помню отвратительнее стационарной уборной... Унитазы обросли вонючими сосульками. Воды нет... Мы прозвали ее «душегубкой»...

...Когда пришла ко мне на свидание мама, со слезами на глазах я умоляла ее забрать меня с собой.

— Вот возьми меня на руки, и ты увидишь, что я прибавила на целый килограмм! Меня уже спасли от голодной смерти. Правда...

Мина в батоне

— Идешь ты по набережной Невы. И вдруг видишь: плывет у самого берега игрушечный пароходик. С трубами. И дым из них валит. И даже крошечные матросы стоят. Ни за что его не вылавливай! Один выловил, и сразу ка-ак жажнет! Ни его, ни кораблика. Там мина запрятана. Это немецкие шпионы пускают. Специально, чтобы детей подловить.

— А я другое слышал. Сидит у водосточной трубы кукла. Глаза синие, ресницы настоящие. Платье сплошь кружевное. Притронешься к ней — сперва ничего. А качнешь немного, проверить — говорящая или нет — и взрывается со страшной силой...

Много таких легенд ходило среди ленинградской детворы. Мы предостерегали друг друга, но каждый втайне мечтал сам встретить подобную смертоносную диковину. Рассказывали о золотых часах, которые взрываются ровно в полночь, о конфетных коробках, о тортах с кремом...

И один раз мне «повезло». На Разъезжей улице, в углублении, у тротуара, я увидела... батон. Пухлый, белый, довоенный батон. Сбылось! В смятении делаю круги возле поджаристого чуда. Сейчас пойду в милицию и заявлю. Или к зенитчикам на Неву. Приду и скажу:

— Идите, я обнаружила немецкую мину.

И, по всей вероятности, мне дадут медаль или, по крайней мере, пришлют в школу письмо: «Комаровской Елене Федоровне объявляется благодарность за героизм и выдержку».

Вот прямо сейчас и пойду... Но, признаться честно, отведать хрустящую корочку мне хочется сильнее, чем получить признание своих заслуг. Это желание даже преодолевает страх подорваться на mine.

А, будь что будет! Я бесшумно подберусь, проверю, не торчит ли кончик проволоки, отщипну краешек булки. И — деру! Прямо в милицию.

На улице пусто. Я ложусь на мокрый тротуар и по-пластунски продвигаюсь к батону. Так, так, еще немножечко. Вот уже можно дотянуться рукой... Долго я не делаю последнего шага. Как-никак, а ставлю на карту жизнь! Но чувство риска пьянит...

Цап! Пальцы мои, уже осязавшие аппетитную мягкость батона, нащупывают холодную, твердую, безжизненную поверхность.

Как я лежала на животе, так и осталась лежать, переживая свою неудачу.

Все напрасно: и бесстрашие мое, и надежды. Перед моим носом —

бутафория из папье-маше, предательски выкрашенная масляной краской...
Что бы мне раньше вспомнить, что неподалеку вчера разбомбили
булочную!..

Поручение

— Ленка, сбегай-ка за хлебом. Если принесешь в целости-сохранности, кое-что получишь.

Такие поручения частенько мне дает Зинаида Павловна. Ох, и неохотно я за них берусь! Нетрудно сбегать в магазин и даже отстоять там очередь, тем более соблазнительно потом стать обладательницей горсточки изюма или соевого батончика. Но — пользуясь терминологией сегодняшних дней — морально тяжело. Чего стоит хотя бы одно уточнение: «Если принесешь в целости-сохранности...» А тон? Повелительный, даже не предполагающий отказа, пренебрежительный. Я сознаю, конечно, что мала, что менее занята, чем взрослые, что сделать мне это легче... Но вот не лежит душа быть на побегушках у толстой Зинаиды Павловны, и ничего с этим не поделаешь. Однако под строгим взглядом мамы я вынуждена каждый раз соглашаться.

Что побудило меня в тот день взбунтоваться — не помню. То есть бунт назревал давно, но был к нему и какой-то ничтожный повод, совершенно не задержавшийся в памяти.

— Сегодня я не пойду. Сходите сами! — отрезала я в лицо изумленной соседке.

Мама, присутствовавшая при этом, сдвинула брови, что не предвещало ничего хорошего.

— Лена, ты сама не знаешь, что говоришь.

— Прекрасно знаю.

— Ты еще дерзить будешь? Не беспокойтесь, Зинаида Павловна, сейчас она сбегает.

— И не подумаю.

— Лена!!!

Дернув плечом, я независимо усаживаюсь за книгу. Сердце, предчувствуя расправу, бьется часто-часто. Я ведь знаю, что мама всегда добивается, чтобы я выполнила то, что она говорит. И спуску мне не будет.

— Зинаида Павловна, спокойно идите к себе, через полчаса хлеб будет у вас на столе.

— Не будет!

Дверь за соседкой закрывается. В эту минуту, как мне кажется, я совсем одна-одинешенька на белом свете. Даже мама становится моим врагом. «Все за чаепития», — думаю я горько и несправедливо и гляжу на

мать в упор, зло, непримиримо.

— Ты что так на меня смотришь? А? Ты что так смотришь? — мама прямо задыхается от гнева. — Неблагодарная эгоистка! Я тебе покажу дерзить! Я тебе покажу!..

О дальнейшем и вспоминать не хочется. Я сопротивляюсь изо всех сил, но маме удастся закатить мне несколько жгучих пощечин. Очень больно, унизительно, обидно. Только бы не заплакать! Только бы не заплакать!

С каменным лицом я застываю в уголке дивана. Так я буду сидеть час, два, три...

Приходит отец.

— Вот, полюбуйся на свое сокровище!

«Папочка, миленький, папочка, — про себя умоляю отца, — ну хоть ты пожалей меня! Хоть немножечко!»

Папа жалеет, я вижу, но мама «главнее», и он не смеет вмешиваться.

«Трус! — думаю я. — Трус!»

— Пока не извинишься перед Зинаидой Павловной, — не получишь ужина!

Трудно придумать было в то время более жестокое наказание.

— И не надо. Пусть.

Непокоренная, голодная, несчастная, ложусь в постель. Сон долго не идет, но, наконец, обессиленная душевными терзаниями, я засыпаю...

Глубокой ночью, когда мне снится Зинаида Павловна, вприпрыжку бегущая за покупками в котиковой шубе и резиновых ботах, я просыпаюсь от того, что мне на щеку капает что-то мокрое. Это мама!

— Девочка моя родная... Разве я не понимаю? Я же все понимаю... Ты же видишь, какое время. Надо тебя уберечь... Если бы Зинаида Павловна меня не подкармливала иногда, и ты бы не получала того, что сейчас получаешь. Мы должны быть ей благодарны за это. Прости меня, девочка...

Мы обе долго плачем. Мама горестно, а я — облегченно. С самого начала вот так бы со мной, начистоту, — я бы все сделала, лишь бы маму не обидеть...

Наутро с повинной я иду к соседке и, взяв ее карточки, бегу в булочную.

«Милые жильцы мои...»

Конец марта. Ослепительный весенний день. Выходной день. Но наша коммуна поднимается очень рано — даже раньше обычного времени. Вместе со всеми встаю и я. Сегодня мы идем на воскресник.

Широко распахнуты двери всех подъездов. Из черных лестничных штолен выбираются на свет все новые и новые жильцы. Управдом, хмурый человек в военной гимнастерке, на одном костыле, видимо, любит четкую организацию и дисциплину. Он подсчитывает прибывших и требует, чтобы для начала весь наличный состав воскресника выстроился в подворотне. Надо произвести смотр рабочих сил. Лицо управдома еще больше нахмуривается. Рабочие-то есть, мало кто остался в такой день сидеть по квартирам, а вот сил — нет. Это очевидно даже при беглом осмотре. Бледные женщины, ребятня, старушки в очках, пять-шесть дистрофичных мужчин неопределенного возраста... Высохшие слабые руки вяло сжимают рукоятки совков для мусора, веников, ведерок. Удержат ли эти руки тяжелые стальные ломы и лопаты, которые заготовил управдом? Он с сомнением оглядывает работников. А одеты-то, одеты! Из-под юбок торчат лыжные шаровары, поверх валенок натянуты спортивные резиновые тапочки, линялые береты и фетровые шляпки сползают на носы и уши.

— Интеллигенция, черт бы ее побрал, — ворчит управдом, — одеться на работу не умеют...

Проковыляв вдоль неровного строя, наш командир вдруг преображается. Он расправляет по-военному спину и окидывает собравшихся истинно командирским — «мобилизующим» — взглядом:

— Па-а пятерке расчи-тайсь!

Первый, второй, третий, четвертый, пятый... Первый, второй, третий, четвертый, пятый...

В нашей семейной пятерке мама — первая, отец — пятый. Я — в серединке, между тетей Соней и ее мужем.

— Первых назначаю звеньевыми, — распоряжается управдом. — Звеньям по сигналу отправляться на свои участки!..

Нашему звену достается гряда осевших, уже подтаявших сугробов, опоясывающая дом с улицы. Сугробы нужно раскидать лопатами по мостовой, чтобы солнышко доконало их совсем. Другие звенья будут скалывать лед во дворах, чистить скребками асфальт.

— В бомбоубежище оборудован титан с кипятком, — возвещает

командир, — но не советую им увлекаться. Разгорячитесь, потом перепростужаетесь все, так что смотрите... Полчаса работы, пять минут отдыхаем. Все понятно?

Вопросов нет?

— Понятно... Нет... — хором тянем мы. — Приступать?..

— Подождите. — Управдом меняет свой командирский тон. — Сейчас... Я что-то хотел вам еще сказать... Сейчас...

Он проводит рукой по лбу, по глазам — и словно снимает с лица свое хмурое, «руководящее» выражение. Теперь он смотрит на нас устало и доверчиво:

— Ленинградцы, милые жильцы мои, — тихо говорит он. — Мы с вами такую зиму пережили, расскажем детям потом — не поверят... Сами страшно выглядим, а город наш — еще страшнее. Он вместе с нами страдал, все выстрадал, все видел, все перенес. Нужно помочь ему сейчас — подлечить, чтобы весну он по-человечески встретил... Я знаю, слабые вы все, недоедаете, тяжела для вас эта работа — вон, какие завалы во дворах, — но что же делать, что же делать, дорогие мои? Кроме нас, жильцов, никто этого не сделает. Уж соберитесь с духом, держитесь как-нибудь, все нам потом воздастся...

В строю всхлипывают. Управдом — снова хмур и строг.

— Мою команду слушай! Па-а рабочим местам шагом арш!

...Мы трудимся до темноты. Поначалу смертельно уставая, задыхаясь, то и дело приваливаясь к нагретой солнцем каменной стене спиной — для того, чтобы не свалиться с ног. Ноздреватый серый снег непомерно тяжел, сугробам конца-края не видно, они представляются мне горной цепью, уходящей за горизонт. Давно сброшены шерстяные платки и кофты — жарко, потно, ноги подкашиваются от слабости... Но потом, когда уже казалось, что не выдержим — свалимся, вдруг дело пошло на лад. Входим в ритм, наши движения становятся собраннее, увереннее. Даже управдом, который весь день крутился на улице и во дворах со своим костылем, ругаясь, подбадривая, похвалил наше звено, сказав:

— Интеллигенция, интеллигенция, а кой-чего умеют.

Мама даже покраснела — столь приятна ей показалась эта похвала.

...Таких воскресников было потом еще немало. Они объявлялись и в будние дни, после работы. Я не помню, чтобы кто-нибудь отказался пойти поработать.

Даже Зинаида Павловна, сняв золотые колечки с холеных пальцев и кокетливо повязав на высокую прическу шелковую косынку, бралась за лопату.

...К маю Ленинград был очищен от снега и грязи, и если бы не разрушенные здания, выглядел бы почти по-довоенному.

Рагу из Барсика

Нас приглашают в гости. Дяди-Сашина приятельница, которая живет неподалеку от нас, справляет именины.

— Сходим, Оля, — уговаривает тетя Соня мою маму, которая не любит новых знакомств и очень застенчива, — все-таки немного развеемся. Ленку возьмем с собой. Пошли, пошли, не бойся.

— Да я не боюсь, — сомневается мама, — но ведь подарить что-то нужно.

А у нас нет ничего подходящего.

— Ну и подумаешь! Женщина просто хочет с людьми посидеть, нужны ей наши подарки!

— Ну как же, все-таки... Без подарка неудобно.

Поразмыслив, мы решаем преподнести имениннице красивую овальную люминофорную брошку. Такие брошки появились в Ленинграде осенью. Они светились в темноте зеленоватым неярким фосфорическим блеском. Вечерами, когда город погружался в первобытную темноту, сшибиться на улице лбом с кем-нибудь было очень легко. А такие брошки, прикрепленные к лацкану пальто или к шляпе, позволяли уже метра за три-четыре видеть, что кто-то движется навстречу. Улица имела феерический вид — по ней неслышно проплывали хороводы светлячков... Люминофорки бывали круглые, прямоугольничками, в виде звездочек. Мамина — овальная — мерцала особенно таинственно: ее свет имел изумрудный оттенок.

Зинаида Павловна дала нам пустую коробочку из-под духов. Мы положили в нее брошку и отправились на именины. Дядя Саша тащил под мышкой свой персональный подарок: жестяную буржуйку новейшей конструкции. Трубу он доверил нести папе.

Хозяева встречают нас радушно. Комната невелика, но любовно прибрана.

Миловидная молоденькая тетя Женя и ее мать, Марина Ивановна, хлопчут у накрытого стола. Пока взрослые церемонно знакомятся и обмениваются любезностями, я бесцеремонно разглядываю угощение. Ничего выдающегося: лепешки из шрот, только приготовлены изящно — в виде пирожных, и украшены кубиками из желе малинового цвета. Знаем мы это желе — морская капуста, разумеется. Хлеба очень мало. Очень. В пиалушках — соевое белоснежное суфле. Знаем мы это суфле — гадость,

подслащенная слегка сахарином.

Графинчик со спиртом... Да, ничего особенного. Но тут я улавливаю запах мясного. Неужели будет горячее? Будет, будет! Моя догадка переходит в полную уверенность, когда я замечаю, что Марина Ивановна достает из стеклянной горки с посудой большое продолговатое блюдо, а тетя Женя то и дело выбегает на кухню. «Посмотреть, чтобы не пригорело, — мечтательно думаю я. — Скорей бы уж пили они свой спирт и закусывали. И чего тянут?» Я ретиво приступаю к шротам — чем скорее мы их съедим, тем скорее принесут жаркое. Почему-то горячее является перед моим взором именно в виде жаркого — домашнего, крупными кусками, в густом коричневом соусе, с картошечкой. Где-то в глубине души я понимаю, что этого не может быть потому, что этого не может быть. Но ведь пахнет же мясным? Пахнет!

И его приносят. Только не жаркое, а рагу. И не с картофелем, как мне грезилось, а с черными макаронами. И не в коричневом соусе, а в каком-то бело-розовом. И не крупными кусками, а очень маленькими, похожими на клочки куриного мяса. Ну и что же? Все равно изумительно! Мне достается приличная порция, которую я ем, не торопясь. Не ем даже, а вкушаю. И все наши тоже вкушают да похваляют хозяек. А те сидят, гордые своим гостеприимством, только время от времени взглядывают друг на друга с каким-то загадочным выражением.

Все насытились, довольны. Посуда дружно вынесена на кухню. Уютно располагаемся — кто в кресле, кто на диванчике, дядя Саша прилаживает в углу новую буржуйку. Папа изучает полочку с книгами. Хозяйки звенят чашками, готовят чай.

Мама, которая всегда старается говорить малознакомым людям приятное, хвалит угощение:

— Чудесное, чудесное было рагу!

— Александр Данилович, вы нашего Барсика помните? — вдруг говорит Марина Ивановна.

— Еще бы! Здоровенный котина. Я всегда удивлялся. По-моему, он у вас весит целый пуд. Как вы его только кормите в такое время?

— Мы его кормим? — натянуто смеется Марина Ивановна. — Он нас, голубчик, кормит! Он, бедняжка.

— Мышек ловит? А вы их на сухари сушите? — острит папа.

— Что вы, Федор Данилович! Какие сейчас мышки?

— Ну, если есть кошки...

— Да и кошек уже нет и в помине. Женечка, открой секрет!

Предчувствуя недоброе, я с опаской перевожу глаза на симпатичную

дяди-Сашину приятельницу. У нее в лице появляется какое-то жалкое выражение.

— Не обижайтесь на нас, но мы вас... Барсиком угостили. Ничего у нас больше не нашлось. А именины хотелось справить — традиция. Мы с мамочкой решили — нельзя сейчас традиций нарушать...

У дяди Саши падает из рук жестяная труба. Но он быстро подхватывает ее и еще энергичнее начинает возиться с печуркой. Мама незаметно прикрывает рот платочком. Папа в некотором замешательстве быстро-быстро листает книжку.

Положение спасает тетя Соня.

— А французы лягушек едят! — говорит она. — Считается деликатесом.

Что приуныли? Давайте чай пить, а то остынет.

...Ночью мне снится пушистый пудовый Барсик. Как те розовые поросята в витринах гастрономов, он стоит на задних лапах, а в передних держит, усмехаясь в усищи, тарелку с дымящимся рагу.

Пицца духовная

Мы пьем зеленые отвары, покупая толстые пакеты еловых и сосновых иголок. Поэтому даже в мае у нас дома все благоухает Новым годом — чашки, кастрюльки, руки. Мы — на ногах, но весенний авитаминоз коварен. Он продолжает угнетать нас. Главный его признак — необоримая вялость, которая вяжет, сковывает движения, мысли... Я почти совсем перестала читать и болтать. Даже стойкая мама с трудом удерживает в пальцах иголку и засыпает прямо над своим вышиванием. Обычно деятельный, дядя Саша, придя домой, сразу же скидывает сапоги и без лишних слов растягивается на кушетке. И тут уж — в буквальном смысле этого слова могут пушки палить: его все равно не добудишься. Только папа, несмотря на полное истощение, упрямо играет в свободные часы на скрипке. А у мамы даже нет сил рассердиться на него. Она только просит иногда:

— Федя, умоляю, тише, соседей потревожишь...

В это сонное царство папа однажды вторгается с неожиданными идеями.

— Пищей телесной теперь сыт не будешь, — объясняет он. — Надо делать упор на пищу духовную. И напрасно ты, Ленка, хихикаешь. Голова должна быть занята не помыслами о горбушке, — да, да, я ведь тебя насквозь вижу! — а чем-то более возвышенным. Я недаром играю на скрипке, понимать надо! Она меня выручает. А одна моя знакомая девочка пишет стихи. И вот, представь себе, она настолько увлеклась этим эстетическим занятием, что забывает по утрам завтракать.

— Х-ха! Так я и поверила. Забывает позавтракать! Хотела бы я посмотреть на такую девочку. Где это они, интересно знать, водятся?

...На другой день папа вручает мне толстую коричневую общую тетрадь.

Очень красивую тетрадь с глянцевитыми нелинованными страницами. Где он ее раздобыл? Бумаги в Ленинграде тоже не хватает, и в школе мы пользуемся одной и той же тоненькой тетрадкой неделями. Сначала исписываем «внутренность», втискивая на каждой линеечке по две строки, потом пишем на обложке, затем на полях. На школьном «черном рынке» (а он тоже существует — мы без конца что-то вымениваем друг у друга) тетрадка, после съестного, ценится выше всего. Папа объясняет, что «общую» ему подарил его приятель-писатель. С такими якобы словами:

— Вот, Федор Данилович, это специально для вашей дочки. У меня лишняя оказалась. Пусть учится стихи писать. Потом мне покажете.

У меня нет и тени сомнения, что папа все выдумал, тут же, в две минуты.

Он мастер на такие сказки. Поэтому я уже прикидываю мысленно, как распорядюсь неожиданным-негаданным подарком: если из середины, оттуда, где виднеются железные скрепки, вынуть листов шестнадцать, получится еще одна тетрадь. Ее можно будет отдать Зойке-зайке. И нам обоим надолго хватит бумаги.

Но папа не унимается:

— К завтрашнему дню напишешь стихотворение.

— Как же, напишу, — что это еще за шуточки? Я ведь не умею. И не хочу. И не буду.

— Это мы еще посмотрим!

По-своему папа не менее упорен, чем мама. Только в маминых действиях, на мой взгляд, больше смысла. В конечном итоге я всегда понимаю, что и зачем она от меня требует. Даже если вначале сопротивляюсь изо всех сил. А вот чего добивается папа — я часто просто в толк не возьму. Писать стихи? О чем? Для кого? Почему?

Папа начинает действовать угрозами:

— Не напишешь — не получишь ужина.

— Федька, что за глупости? — вмешивается сердобольная тетя Соня.

— Я у тебя совета не спрашивал! — отрезает папа.

Мама почему-то молчит, никак не участвуя в этом споре.

— Кладу тетрадь на камин, — провозглашает папа свой ультиматум. — Чтобы к вечеру там было стихотворение. Слышишь?

У меня в душе закипает протест против такого насилия. И кто со мной так поступает — добрый, покладистый папа, с которым я всегда находила общий язык! Еще от мамы я могла бы ожидать подобного обращения, я же помню, как она «внедряла» чтение. Но отец?..

Однако утром, в школе, когда Крокодила что-то очень долго и скучно объясняла по арифметике, я вдруг ловлю себя на том, что в моей голове ворочаются какие-то рифмованные строчки. Они ворочаются довольно долго — в течение всех уроков и даже во время школьного обеда, пока не складываются в неуклюжие двустихия: Весна идет. На улице весенняя пора, И топают по улицам шальная детвора.

И солнце греет радостно и весело блестит, Сосулька преогромная под крышею висит.

Мальчишка тащит саночки, где горочка была, Глядит — и нету

горочки. Горочка сплыла.

Ну, а зимой над домом, свистя, летел снаряд, Разил он всех знакомых и не щадил ребят.

Домой я бежала бегом — меня подгоняло нетерпение записать стихи в коричневую тетрадь. Папа был счастлив. Ужин я получила. Но проглотила его, не заметив, упиваясь своим поэтическим успехом.

...Я исписала всю коричневую тетрадь. Папа подарил мне синюю. Потом красную: он усердно пестовал во мне маленькую графоманку. В течение всей блокады я сочиняла стишки, поэмы, пьесы... И вдруг начала понимать «одну знакомую девочку», которая забывала позавтракать. Этого папа, видимо, и добивался...

Зойкина коллекция

О Зойкином, если выразаться на сегодняшнем языке, «хобби» я узнала случайно.

...Теплой белой майской ночью мы спим, открыв настежь окна. Сквозь сон слышим, что по радио объявили тревогу, но, по своему обыкновению, только закрываем головы одеялами, чтобы не мешали шум и свист. Под маминым влиянием мы все постепенно стали фаталистами, даже склонный к некоторой панике папа.

Утром, спуская босые ноги с постели, я громко вскрикиваю: пятка натывается на что-то холодное и острое.

— Ой, осколок!

— В самом деле, осколок, — подтверждает папа, подобрав кусок темного металла с рваными краями. Как он сюда попал?

Еще три снарядных осколка обнаружены тетей Соней в центре комнаты, на полу, у стола. Один даже пробороздил в паркете глубокий светлый желобок — с такой силой ворвался.

Значит, пока мы видели сны, в открытые окна летели смертоносные железки и лишь чудом миновали наши головы. Снова «Тамбурин» Рамо!

Но в общем-то осколки нас не слишком удивили: мелкие блокадные неприятности — не более.

В школе я рассказываю о случившемся Зойке. У нее загораются глаза.

— Отдашь мне?

— Что — отдашь?

— Его!

— Кого — его?

— Осколок! Только Бушую не говори, он тоже собирает.

Вот так Зойка! Мне — ни гу-гу, а сама коллекцию составляет. Сказала бы подруге, я бы, может, тоже стала собирать осколки. Мало ли мне их попадалось? Я слегка обижаюсь на такую скрытность. Но ненадолго — я не умею сердиться на Зойку.

— Покажи хоть свое собрание!

Зойка соглашается. Осколки она хранит в широком плоском ящике письменного стола. Их там уже много — и от фугасок, и от бомб, и от снарядов. Не знаю, кто Зойку надомил, ко каждый экспонат снабжен аккуратной бумажной наклейкой. Круглыми корявыми буквами выведены дата и место находки. Зойка устраивает для меня небольшую экскурсию по

своему музею.

— Вот этот — мой первый... Я его у нас во дворе, еще осенью, в песочнице нашла. А вот этот, видишь, такой позеленевший, мне мамочка принесла (Зойкина мама — врач, хирург). Она его у одной женщины из ноги извлекла, во время операции. Вон тот, треугольничком, я прямо чуть не на лету схватила — еще горяченький был, представляешь? Смотри, а вон самый лучший — с изгибчиком. Тут краешек дна и бочок — и буковки немецкие, гляди, разбираешь?.. А этот, — Зойка задумывается, — я его терпеть не могу! Он мою бабу Нату хотел убить. Шрам у нее на шее остался — замечала?..

Посевная

На шершавой гранитной стене нашего дома, у подъезда, наклеен плакатик: «Каждый трудящийся Ленинграда должен считать своим гражданским долгом вырастить овощи для себя и для своей семьи на личном огороде». По радио тоже без конца твердят о семенах, земельных участках и огородном инвентаре. Мама слушает такие передачи с выражением некоторого страха на лице. Зато папа загорается энтузиазмом.

— Феноменально! Осенние борщи! Своей хряпы девать будет некуда!

Огурчики замаринуем!

— Огородник лихой, — смеется мама. — Да ты хоть раз в жизни грядку вскопал?

— Но это же примитивно! — кипит папа. — Чего тут особенного?

Окопы я ведь копал? Берешь в руки лопату и роешь себе — одно удовольствие!

Свежий воздух, зарядка, загар! Надо брать участок. Обязательно!

Мама пожимает плечами.

...Участок нам выделяют поблизости, на улице Правды, в скверике, окружившем большое здание, наглухо забитое досками. В домоуправлении папа заимствует лопату, и мы торжественно отправляемся на земледельческие работы.

Я несу в руках детскую — Димкину — лейку. Мало ли, вдруг понадобится? Хотя отчетливо сознаю, что до поливки зеленых всходов еще весьма далеко. Просто мне приятно чувствовать себя маленькой садовницей, а образ садовницы в моем понятии неотделим от лейки.

В сквере кипят полевые работы. Среди редких деревьев, покрытых первой весенней листвой, еще прозрачной, какой-то нематериальной, слабенькой, будто деревья тоже голодали эту зиму, неумело ковыряются в земле такие же огородники, как и мы. Папе не терпится приступить к делу. Мне тоже.

— Мы вонзим лопаты в грядки! — бодро восклицает папа. — Ленка, срифмуй следующую строчку! Быстрее, думай, думай!

— Будет все у нас в порядке!

— Молодец! Морковку разрешу таскать без всякого ограничения. Ну, поехали!

Чик! Папа эффектно вонзает лопату в садовую дорожку. Но — увы! Она входит в землю не более чем на пару сантиметров. Что такое? Еще —

чик! То же самое. Потыкав в разных направлениях, мы убеждаемся, что под верхним тонким слоем песка находится толстый слой битого кирпича. Земля еще как следует не оттаяла, и кирпич надо выдирать, по-видимому, с помощью лома. Лом мы попросить у домоуправа не догадались. Да и тяжеленный он, тащить его сюда... Папин энтузиазм заметно остывает.

— Н-да. Сегодня ничего не выйдет, — говорит он. — Пошли, брат, домой. Завтра займемся.

Завтра у папы внеочередные концерты. Послезавтра, оказывается, тоже. И послепослезавтра. И в среду, и в четверг, и в пятницу.

...Личный участок вскапываем мама, тетя Соня и я. Кирпич выковыриваем большим кухонным ножом. Из красных осколков я потом выкладываю на нашем участке надпись «Смерть фашистским оккупантам».

Три широкие ровные грядки готовы. Но что сажать? Папины прожекты насчет огурчиков, капусты и прочих благородных овощных культур мама сразу объявила утопией. Нам огурчики не выходить — и опыта нет, и времени. Надо что-нибудь простое, неприхотливое в смысле ухода и, главное, дающее обильный, быстрый урожай. Картошку бы! Картошку, конечно. Но где взять клубни для посадки?

Ответ один — нигде. Красную свеклу? Но уж больно она красная...

— Тур-непс! Вам известно такое слово? — Это произносит дядя Саша. — Все сажают турнепс. Он дает небывалый выход продукции с гектара.

...Мы никогда не пробовали раньше турнепса, что и немудрено — он предназначается на корм скоту. Но какое это теперь имеет значение? Важно, чтобы овощ был увесистый.

Сажаем турнепс — семена мама принесла из своего института, где их распределяли между научными работниками. Кстати, ей предложили еще один участок — прямо на Исаакиевской площади, под окнами института. Но она отказалась.

Кокосовый орех

Я люблю приходить к Зойке. Она живет в просторной квартире. Но сейчас в ней обжита только одна комната, где Зойка и баба Ната. Отец — на фронте. Он моряк. Мама, майор медицинской службы, приходит к ним лишь изредка — приносит свой паек. Благодаря этому пайку Зойка и ее бабушка голодают относительно меньше других. У них водятся сухари, которыми они меня иногда угощают. А в иных случаях даже наливают в придачу пару чайных ложек сгущенного молока в красивую хрустальную розетку.

Зойкино жилье не похоже на наше. Здесь, на Московской, у нас все вещи случайны, и если не считать камина, главной достопримечательностью комнаты является длинная коленчатая труба от буржуйки. Стараниями мамы у нас всегда чисто прибрано, каждый предмет имеет свое определенное место, но, в общем, живем, мы, конечно, неудобно, по-походному. У Зойки — совсем другое дело. Их фамилия обитает в этой квартире чуть ли не сто лет. И, по-моему, мало что на протяжении этих ста лет здесь менялось. В углу — массивная изразцовая печь.

На каждом изразце — картинка, выведенная синей глазурью: всякие кораблики, кони, домики с остроконечными крышами. Я могу стоять возле этой печи часами и разглядывать ее — картинки не повторяются... На стенах, оклеенных светлыми обоями в полоску — много живописи. Особенно мне нравится один портрет: худенькая дама с низко опущенными на розовые ушки прядями волос глядит на меня глубоким укоризненным взглядом. У дамы белая удлиненная шея, на которой чуть проступают голубые жилочки. Если долго-долго смотреть, начинает казаться, что жилочки легонько вздрагивают, а нежный румянец на щеках излучает живое тепло. Я часто думаю об этой даме. Кто она? Почему такая худенькая и грустная? Может, тоже жила впроголодь? Почему-то я уверена, что звали ее Полина...

— Кисти Брюллова, — важно сказала про портрет Зойка. — Самого Брюллова, понимаешь? Это подлинник, понимаешь?

Делаю вид, что понимаю, хотя, кто такой Брюллов, могу пока еще только догадываться. Но неудобно выказать свое невежество. И я молчу, с жадным интересом разглядывая диковинное убранство Зойкиного жилья.

Рядом с дубовым письменным столом, у которого вдоль доски, крытой зеленым сукном, идет хрупкая деревянная балюстрада, стоит лампа на

бронзовой тяжелой подставке. Подставка изображает русалку. Чешуйчатым хвостом морское чудо упирается в паркет, а тонкими руками держит абажур.

Русалка дерзко улыбается, вскинув прелестную головку...

И чего-чего еще только нету в Зойкиной комнате! На каждом шагу какие-нибудь старинные вещицы. Щепки для растопки натолканы в массивное серебряное ведерко для замораживания шампанского. Такие ведерки папа показывал мне в «Квиссисане», где они красовались на пустой буфетной стойке.

Буржуйка, примостившаяся подле изразцовой печи, установлена на резном металлическом блюде. При закатном освещении мягкими огоньками вспыхивают витражи на дверках буфета. А сколько всякой всячины в застекленном шкафу!

Японские куколки с ярко раскрашенными лицами, перламутровые завитушки раковин, божки из камня, ершистые ветки кораллов... Есть и еще одна штука, которая давно не дает мне покоя, — большущий кокосовый орех. Зойка рассказала, что ее дедушка, капитан дальнего плавания, еще до революции привез этот орех с каких-то тропических островов. Да и все остальные диковины тоже привезены им из разных концов света.

— Можно подержать орех? — спрашиваю я у добрейшей бабы Наты, маленькой старушки-хлопотуньи с коротко остриженными волосами.

— Конечно, конечно, родная, возьмите, посмотрите хорошенько, — кивает баба Ната. Она, неизвестно почему, называет меня на «вы».

Орех тяжелый, косматый, коричневый покров щекочет ладони. Я подбрасываю его вверх, как мячик. Булькнуло что-то внутри? Или мне показалось? Я читала в книжках, что один такой орех может послужить для туземца целым обедом.

Сначала, если скорлупу расколоть, там обнаружится много сытной мякоти.

«Наверное, как у грецкого ореха», — мечтаю я, и у меня текут слюнки. А в самой серединке — прохладное, вкусное питательное питье, почти целый стакан. Я, конечно, знаю, что орех чужой, что это просто сувенир, такая штучка для памяти и украшения комнаты, но съедобная сущность кокоса приводит меня в волнение. Я как-то совсем забываю, что ореху этому не менее полусотни лет. По Зойкиным глазам вижу, что и ей тоже интересно.

— А что, если... — произносит Зойка, когда баба Ната выходит на минуту из комнаты.

— Да! Да! — страстно отзываюсь я. Продолжать не надо, я понимаю Зойку с полуслова.

Входит баба Ната.

— Завтра, ладно? — шепчет мне Зойка и заговорщически подмигивает. — Я его потихоньку утащу...

— А как утащишь? — также шепотом спрашиваю я. — Он большой.

— Придумаю что-нибудь...

На другой день Зойка появляется в школе со странно раздутым портфелем.

Мы с трудом обороняемся от любопытных мальчишек.

— Что у тебя там? Бомба? — ехидничает Бушуй.

— Угу. Бомба, — равнодушным голосом отвечает Зойка.

После уроков мы бежим в один из своих третьих дворов. Там есть закоулок, где никогда никого не бывает. По дороге я запасуюсь булыжником.

Есть у меня в портфеле и перочинный ножик, и пластмассовая чашечка — для кокосового напитка. На всякий случай я прихватила с собой кристаллики сахара. А вдруг напиток окажется недостаточно сладким?

— Знаешь что? — говорит Зойка. — Давай еще Людку позовем, она в этом доме живет. А то как-то скучно вдвоем.

Я с ней не согласна, но возражать не решаюсь — все-таки это Зойкин орех. Мы выскакиваем на улицу и, приложив руки ко рту, орем во всю глотку:

— Людка!!! Людка!!!

Людка Сидоркина, веснушчатая болтушка, которая сидит на соседней с нами парте, высовывается из окошка.

— Тут я!

Еще миг — и она присоединяется к нам. Мы снова укрываемся в своем тайнике.

Уф-ф-ф! Что это была за работа! Сначала я несильно ударила орех своим булыжником. У него только отлетел в сторону один коричневый волосок. Еще раз — посильнее. Никакого эффекта. Потом попробовала Зойка. Потом — Людка.

Безрезультатно. Тогда мы стали колошматить его что есть мочи, пинать каблуками, ударять об асфальт... Проклятый кокос не поддавался. Людка предложила подняться к ней, на пятый этаж, и сбросить орех вниз. Так мы и сделали, выждав момент, когда поблизости не было прохожих. Но какой-то дальний прохожий все же увидал, как сверху летит что-то, похожее на фугаску, и в ужасе метнулся в подворотню. Орех откатился вниз по улице

на полсотни метров, но остался целешенек.

— Подорвать его надо! — осеняет меня.

— А где мы достанем пороху? — резонно возражает Зойка.

— Крепкий орешек, крепкий орешек! — скалится Людка, и мне хочется ее стукнуть. Прощай мечты о пятистах граммах орехового масла и двухстах граммах орехового напитка!

Так и не удалось нам познать кокосовые тайны. Но нет худа без добра: Зойка водворила орех на место, в шкаф, а близорукая баба Ната так ничего и не узнала о его однодневной пропаже.

...В прошлом году я была в Ленинграде. Заходила к Зое. Мама ее, вышедшая на пенсию, как две капли воды стала похожа на бабу Натю. Баба Ната давно умерла. У Зойки двое детей: Анка и Митяй. Кокос лежит на том же самом месте, в том же шкафу, рядом с божками из камня.

— Ты знаешь, — смеется Зоя, — мои детки тоже пытались стащить и расколоть кокос. Думали, что я ничего не замечу.

Энике, бенике, си колеса

Вот и лето!

Настоящее, жаркое лето. Сквозь каменные плиты тротуаров на улице Правды пробиваются острые хвостики травы. Баррикада в Свечном переулке зацвела золотистыми головками одуванчиков. Я уже пробовала одуванчики на вкус.

Жевала цветки, слизывала белое молочко, проступающее на изломе стебля-трубочки. Горьковато, конечно, но есть можно.

Наш огород в скверике взошел какой-то разнообразной буйной растительностью. Возникло намерение прополоть его, но у мамы с тетей Соней вышел спор: где турнепсовые всходы, а где — сорняки. Спорили долго, но так ни к чему и не пришли. Решили подождать до тех пор, пока турнепс не проявит себя более активно, так, чтобы его уже ни с чем нельзя было спутать.

Мне поручено время от времени поливать грядки. Мне нравится это дело.

Занятия в школе кончились, Зойки нету — она вместе со своей бабой Натой перебралась на летние месяцы в Озерки — не занятый немцами ближний ленинградский пригород. Зойкина мама позаботилась снять там дачу. Времени свободного у меня много. Встаю поздно, ем в столовке, где на завтрак стали давать котлетки из лебеды, а на обед отличные, остренькие щи из крапивы. А потом — броди, где хочешь, сама себе полная хозяйка. Взрослых целыми днями не бывает дома.

Я беру лейку, маленький коврик, сшитый мамой из старых фильдекосовых чулок, подаренных Зинаидой Павловной специально для этой цели, и отправляюсь в садик. Расстилаю коврик рядом с кирпичным лозунгом «Смерть фашистским оккупантам!» и ложусь загорать. Солнышко припекает, распекает, допекает... Я нежусь, задремываю... Удивительно: лежа здесь, среди грядок, я чувствую себя в наибольшей безопасности, чем где бы то ни было. Надо только, когда начинается обстрел, проделать следующее: лечь ничком, уткнуться лицом в нагретую землю, заткнуть уши пальцами, и обязательно твердить про себя какие-нибудь нелепые слова, вроде хотя бы вот этой считалки: Энике, бенике, си колеса, Энике, бенике ба!..

И ни о чем больше не думать. Ни о чем.

...На соседнем участке часто копается морщинистый старичок в серой

косоворотке, вышитой украинским швом, и пестрой тубетейке на лысине. Он все делает очень капитально, медленно, с тщанием. У него и грабельки для разрыхления почвы есть, и треугольная тяпка, и очень удобная, с короткой гладкой рукоятью, лопата. Дед приносит с собой и воду в оплетенной ивовыми прутьями большой бутылки. Иногда он пьет, приложив ко рту горлышко сосуда, иногда экономно поливает свои овощи, сделал вокруг каждого растеньица круглую луночку. Огородик у него в отменном состоянии.

Старичок никогда не заговаривает со мной — весь погружен в работу.

Только изредка поднимет глаза, взглянет и улыбнется, не разжимая губ. Очень мило и дружески улыбнется. И мне всегда становится хорошо.

В момент обстрела дед поступает точно так же, как и я — ложится на землю, прикрыв макушку, поверх тубетейки, еще лотком лопаты. Так мы и переживаем опасность: он со своей лопаткой, я с «энике, бенике си колесой».

И нам обоим спокойнее от того, что мы — рядом.

...Снаряд взорвался где-то поблизости. Ухнуло изрядно. Земля глухо толкнулась под моим ковриком. Голову и спину припорошило сверху песком.

Я еще лежу некоторое время неподвижно. Теперь ухает подальше, можно оглядеться. Встаю на коленки, распускаю косы, встряхиваюсь — песчинки из волос так и сыплются. Серая дедова косоворотка проглядывается сквозь них, как сквозь светлый летний дождик. И чего дед залеживается? Пора вставать.

Похоже, что уже больше стрелять не будут. Окликнуть старика? Но ведь мы не знакомы и общаемся лишь посредством безмолвных улыбок. Пусть отдыхает, если ему нравится.

Снова ложусь загорать — быстро надоедает. Полила турнепс — воды в моей леечке мало, она быстро иссякла. А дед все лежит и лежит. Руку как-то странно вскинул. Зачем? Меня охватывает смутная тревога. Хотя вообще все остальное — как обычно. Через витки кустарника я вижу редких пешеходов, тянет мягкий ветерок, посверкивает лопата, которой старик, по обыкновению, прикрыл голову... Только бутылка его плетеная опрокинулась и, наверное, вода вытекает. Неужели он не видит? Вон, у самой тубетейки, образовалась темная лужица. Очень темная. Господи! Почему она такая темная? Энике, бенике, си колеса, почему она такая темная?!!

Я опрометью кидаюсь на улицу. Навстречу бредет немолодая женщина, погруженная в свои мысли. Ловлю ее руками за платье:

— Пойдемте! Пойдемте! Тетенька! Скорее! Там старичок! С ним

случилось что-то!..

Женщине не хочется идти, я вижу. Она очень худа, и в глазах у нее безразличие — сама едва на ногах держится. Но я не отпускаю ее, волоку в скверик.

Мы склоняемся над серой косовороткой. На виске, незащищенном лопатой, — глубокая дыра. Из нее темной ленивой струйкой ползет густая кровь...

— Осколок, — равнодушно говорит женщина. — Я пойду, ему ничем не поможешь. А ты, девочка, сбегай, позови еще кого-нибудь.

Она уходит. Я остаюсь одна со стариком. Я ни о чем не думаю. Совершенно ни о чем. Только стучит-стучит-стучит в голове: Энике, бенике, си колеса, Энике, бенике, си колеса, Энике, бенике, си колеса...

Очень долго стучит. И тогда, когда я вновь выхожу на улицу Правды, ищу людей, встречаю двух военных, которые берут старика за руки и ноги и уносят куда-то, и когда я сижу в столовке и — без всякого аппетита — жую запеканку из шрот, и когда забиваюсь дома в угол, поражая всех своей молчаливостью, и даже ночью, во сне, когда вижу, как наяву, милую улыбку старичка и его пеструю тубетеечку.... Энике, бенике, си колеса... Энике, бенике, си колеса...

Мой знакомый раненый

Я не хожу больше поливать турнепс. Не могу. Я подвирю дома, — что да, была, ходила, растут овощи, поливала, а сама слоняюсь с утра до вечера по улицам и третьим дворам, обходя стороной скверик. Иногда начерчу на горячем тротуаре мелком классы, попрыгаю одна — совсем немножко попрыгаю, потому что быстро устаю, и снова пускаюсь в путь... У меня заводятся случайные знакомства — какие-то лохматые, немые девчонки с обгрызенными ногтями. Мы объединяемся на часок-другой, чтобы покидать резиновым мячиком об стенку подворотни, и тут же разбредаемся в разные стороны, так и не узнав, как зовут друг друга...

В городе душно, пустынно, хотя уже ходят трамваи, позвякивая на стыках рельс и высекая дугой из проводов зеленые искры. Но в красных вагонах тоже пустовато. Часто попадают грузы — темносерые, с длинными открытыми платформами. На платформах уставились в затылок друг другу пушки, громоздятся ящики с боеприпасами: трамвай идет прямо на фронт... В голубом мирном небе повисли толстые аэростаты, похожие на ливерную колбасу. Когда я их вижу, меня всегда берет сомнение — неужто эти воздушные шарики служат хоть какой-то защитой от «юнкерсов» и «мессершмиттов»?

Я иду по узкому, затененному с обеих сторон высокими зданиями, переулку, мимо Холодильного института, и застаю на гранитном хребте Чернышева моста через Фонтанку. Мост украшают четыре массивные каменные башни с куполами. Башни соединены между собой тяжелыми, провисшими петлями чугунных цепей. На такую цепь можно усесться и, отталкиваясь ногами от обочины проезжей части, слегка раскачиваться. Так и делаю. В глазах множатся и вспыхивают сотни миниатюрных радуг — это отсвечивает на солнце грязная вода многострадальной Фонтанки, в которую полетели весь весенний снег и лед из окрестных кварталов.

Фонтанка плывет лениво, нехотя, через силу — словно речка и сама понимает, что негоже «сдавать» в Финский залив столь подозрительную, мутную воду.

На парапетах набережной, возле Большого Драматического театра, чернеют неподвижные фигуры рыболовов.

Двое мальчишек, перегнувшись через перила моста, внимательно вглядываются в воду. Нет уж, лучше не вглядываться. Я вспоминаю жуткий случай, о котором недавно рассказывал дядя Саша. На Фонтанке, у самого

берега, на глубине не более полутора метров, видели труп женщины. На шее — веревка с камнем, в руках — судорожно сжатая сумочка, на голове синий беретик... Эти детали — сумочка, беретик — делают картину настолько реальной, что я соскакиваю со своих «качелей» и спешу прочь от зловещей Фонтанки...

В одно из таких летних странствий меня заносит в четырехугольный, со всех сторон замкнутый глухими брандмауэрами, двор. Безлюдно, тихо, пахнет почему-то лекарствами... Что мне здесь понадобилось? Пойду обратно... Вдруг слышу чей-то голос, даже не голос, а звонкий шепот — зовущий, вкрадчивый:

— Сестричка... Сестричка!..

Что это? И главное — откуда? Окон в брандмауэрах я не заметила.

— Сестричка...

Верчу головой, озираясь по сторонам. Ага! Вон что! В углу красной кирпичной стены еле видное, узенькое оконце. Даже скорее щель, амбразура, да еще забранная решеткой. Из-за этой-то решетки и доносится шепот. В темноте белеет чье-то лицо.

— Иди, иди сюда! Не бойся же...

Легко сказать, — не бойся! Мысли, одна страшнее другой, проносятся в моем воображении — привидение? Вий? Сумасшедший? Подойду, а оно протянет сквозь решетку костлявую руку — и схватит меня за глотку! И вокруг ведь ни души. Или все-таки подойти?

— Да не трусь ты! Иди ближе — я что сказать хочу...

Три шага вперед.

— А... вы кто такой?

— Да елки-зеленые, раненый я! Госпиталь тут. Вход с другой улицы. А я в умывалке, она во двор выходит... Иди скорей, пока меня не застучали. Мне вставать нельзя...

Раненый! Это совсем другое дело. Раненых я не раз видела — мы ходили со своим классом в госпиталь, концерт самодеятельности давали, я свои стихи про весну читала... Раненые — добрые, приветливые. Я подбегаю к амбразуре, пытаюсь в сумраке рассмотреть говорящего. Наголо бритая голова яйцом, складки возле губ, блестящие глаза.

— Тебя как звать, сестренка?

— Ленка!

— Ленка — это здорово! У меня подружка была — Ленка тоже. На вот тебе, Ленка, держи...

Желтые пальцы с бледными отросшими ногтями протягивают мне через ячейку решетки брусочек пиленого сахара.

— Спасибо!!!

— Кушай на здоровье! А меня Петром звать. Петрушей.

— Спасибо, дядя Петруша.

— Какой я дядя? Молодой еще! Побитый только шибко, а так — молодой.

Ну, все, беги, сестричка, беги, Ленка. Поговорить хотелось. Так хотелось!

Один я тут — ни родных, ни знакомых. Придешь еще ко мне?

— Приду!

Мы уславливаемся с Петрушей о свидании через три дня. Я взволнована — у меня есть своя тайна! По вечерам я долго не могу уснуть, раздумывая, чем бы порадовать своего знакомого раненого. Я решаю сшить ему кисет для махорки из кусочка замши, которую видела у мамы, и подарить новенький желтый карандаш марки «Кохинор» — его как-то дал мне дядя Коля. И еще я соберу на баррикаде несколько одуванчиков. Чем не букет?

Мы встречаемся с Петрушей как старые друзья. Я опять получаю угощение — круглую узорчатую печенину. Петруша бесконечно тронут моими подарками. Мы долго беседуем через решетку. Я рассказываю о нашей коммуне, он — о себе.

Петруша из-под Пскова, там у него остались мать и сестры. И та самая подружка — моя тетка. Псковщина под немцем. Петруша о своих ничего не знает. Живы ли? Ранен он нехорошо, в живот, вставить ему не разрешают, но надоело лежать, и плевать — будь что будет! — он все же иногда, тайком, поднимается... А в госпитале — тоскливо... Полежишь сама в больнице — узнаешь...

Я лежала в стационаре, знаю. Сочувствую Петруше.

...Еще мы виделись с ним один раз. А потом он исчез. Я пришла с новыми одуванчиками, стояла, стояла, стояла под амбразурой, но он так и не пришел.

Я подтянулась на руках и просунула сквозь решетку одуванчики. Если зайдет в умывалку — поймет, что я была. И еще раз я приходила, но он так больше и не появлялся.

Может, его перевели на другой этаж? Или в другой госпиталь? А может, выписали? А может...

Дальнейших предположений я не строю.

На собачьем пайке

— Пес у него — Тореадор, овчарка. Преогромная. И такая, знаете, холеная, гладкая. Шерсть прямо так и блестит. Я удивилась, сейчас ведь всех собак переели, как же, спрашиваю, ваша-то сохранилась? А он смеется! Это, говорит, собака особая. Ей цены нет. Она у меня медалистка, воспитана в лучших правилах. Состоит на военном учете. И паек ей положен — больше, чем человеку. Она сыта, и я вместе с ней. И еще, говорит, вот скоро, осенью, отпуск у меня, так мы с Тореадором наймемся в сторожа, огороды караулить. А там, между прочим, платят натурой — картошкой, капустой. Глядишь, мы со своей собачкой и вторую зиму перезимуем. Нам, говорит, голод не страшен.

Это рассказывает мама — о своем приятеле, музыковед, с которым вместе работает в институте.

Интересно! Очень интересно! Оказывается, можно прекрасно обеспечить — стоит только пса завести. Эта мысль крепко засела у меня в мозгу.

И надо же! Иду я раз мимо Дворца пионеров — забрела туда во время очередного маршрута, и вижу — у входа, на фанерном стенде, вывешен список детских кружков, куда может записаться каждый желающий. Кукольный кружок, изо, драм, и — СОБАКОВОДЧЕСКИЙ.

Ура! Записываюсь немедленно. И действительно, меня немедленно записывают — без всяких излишних формальностей. Трудно было только найти в лабиринте пустых дворцовых коридоров нужный номер комнаты. Программа кружка — захватывающая: каждый участник получит на воспитание щенка! А значит — и паек.

По дороге домой спешно прикидываю, как мне подготовиться к первому занятию. Прежде всего надо найти ошейник: возьму у папы ремень, у него есть лишний, я знаю. Во-вторых — приготовить подстилку. Миску. Придется захватить с собой во Дворец какую-нибудь сумку или корзинку - щенка в открытую по городу не потащишь: могут отобрать и съесть. А как назвать?

Робинзоном или Мушкетером! Ну, а если щеночек — девочка? Тогда — Миледи!

Домашним ничего не скажу — пусть будет сюрприз для всех. За пайком сама ходить буду — никому не доверю.

...На занятие являюсь задолго до начала и минут сорок томлюсь у

запертой двери, сидя на белом стуле с голубым бархатным сиденьем. Вот бы такого бархата моему щенку на подстилку! Наконец приходит преподаватель — пожилой рыжий человек с непроницаемыми глазами, — и отпирает ключом дверь.

Приходят и пять юных собаководов — трое мальчишек и две девчонки с умным видом. Корзин и ошейников ни у кого не видать, только торчат из нагрудных кармашков огрызки карандашей. Зачем карандаши?

Мы рассаживаемся за одним столом, вокруг черной школьной доски.

Преподаватель не одаривает нас ни единой улыбкой. Переписав всех по фамилиям, он сразу приступает к уроку.

— Первые пятнадцать занятий, — размеренно рокочет он, — мы посвятим изучению собак различных пород. Законспектируем их анатомию и физиологические особенности. Достаньте свои тетради, пишите. Итак, что такое собака?

Пятнадцать занятий! Боже мой! А ведь они — раз в две недели. Значит, до щеночков по крайней мере — пять месяцев? Тогда уж и зима настанет, и огородный сезон кончится... Что-то здесь не так. А вдруг я ошиблась и попала не в собаководческий, а собаководческий? Пытаюсь выяснить недоразумение и пихаю в бок одного мальчишку, который усердно водит своим карандашом по бумаге.

— Не мешай! — обрывает он меня.

— Нам лентяи не нужны, — как бы между прочим бросает через плечо преподаватель.

Не нужны — не надо! Я расстроена, разочарована... Глотаю слезы. И поделом мне, дурехе! Нечего было на собачий паек рассчитывать.

Пикник в удельной

— Бедная моя девочка, — говорит мама, — все одна да одна... Знаешь что? Кажется, в это воскресенье я буду посвободнее. Давай, устроим с тобой пикник! Хочешь?

Пикник! Какое неблокадное слово! И вообще какое-то несовременное — как будто оно сошло со страниц старинной книжки с картинками. Зеленая лужайка под кронами деревьев... Маменька с кружевным зонтиком, который бросает синюю узорчатую тень на белую скатерть... Няня с лукошком, откуда торчит холодная телячья нога. Очаровательные дети в матросских костюмчиках. Вдалеке — коляска, запряженная парой лошадей...

Стоит ли меня спрашивать — хочу ли я на пикник? Знаю, что он будет иным, чем тот, который я себе нафантазировала, но все равно хочу на пикник!

Очень!

Мы собираемся с вечера. Половину ужина — лепешки из лебеды и завтрашний хлеб — заворачиваем и увязываем в пергаментную бумажку.

Получается пакетик величиной с мою ладошку. Берем с собой алюминиевую кружку для воды и белую салфетку. Пикник без салфетки — не пикник. Здесь мама со мной соглашается. Нет у нас ни кружевного зонтика, ни коляски, зато у меня на голове красуется хорошенькая соломенная шляпка с ленточкой вокруг тульи, и к нашим услугам — трамвай восемнадцатый номер. Он домчит нас до Удельного парка (есть такой лесопарк в Ленинграде) гораздо быстрее, чем любые лошади.

...Свежее утро. Трамвай резво бежит по городу. Пассажиров мало — мы с мамой да две старушки, которые оживленно тараторят всю дорогу. Желтые скамьи совсем свободны, и я могу расположиться так, как мне больше всего нравится: встать на коленки и уткнуться носом в стекло... Мимо проплывают обшарпанные, все в следах осколков, ленинградские дома, четко выделяются на стенах надписи: «При артобстреле — эта сторона улицы наиболее опасна».

Трамвай несется как раз посередине между опасной и безопасной сторонами. Именно поэтому, когда объявляют тревогу, нам приходится вылезти и вместе с долговязой вагоновожатой, кондукторшами и старушками-подружками переждать обстрел в подворотне. Мы стоим там больше часу, но ведь впереди — пикник! Можно и подождать.

Когда мы вернулись в вагон, оказалось, что стекла, к которому я прижималась носом, уже не существует — оно вылетело. Но, на мой взгляд, стало только лучше — трамвай продувается прохладным ветерком...

А вот и Удельная. Деревья подступают к самой трамвайной остановке.

Пахнет нагретой листвой, полевыми цветами — и вообще чем-то забытым, дачным, мирным... Мы углубляемся в зеленые коридоры. Парк совсем не похож на парк. Он не прибран, запущен, зарос и походит на простой лес, лишь изредка пересекаемый сплетением «лысых» утоптаных тропочек. Как хорошо-то! Мама бережно, ласково прикасается рукой к ветвям кустарников, мимо которых мы идем. Проведет своими прекрасными пальцами, кончики которых слегка загнуты кверху, по зеленой гривке, погладит глянцеви́тый лист — и улыбнется... А глаза — ясно-ясно серые, и в каждом по маленькому солнышку...

Я гляжу сегодня на маму — и не могу наглядеться. Так хороша она сейчас, в этом пронизанном светом и жизнью лесу! Вот наклонилась, нашла в траве сиреневый колокольчик, машет мне рукой... Улыбается! Лицо стало таким юным, трепетным, даже немножко лукавым... Серебряная прядка волос упала на лоб. Как она идет к маминим серым глазам! Светится на солнце еще не загоревшая кожа хрупких, покатых — как у той дамы на брюлловском портрете — плеч... Легко, гибко распрямилась. Продевает тонюсенькие стебельки колокольчиков в петличку своего дымчатого платья из сурового полотна — недавно она сшила его сама и украсила вышивкой. И незатейливые цветы сразу же начинают «играть» на грубоватой ткани, оживляя и платье, и всю стройную мамину фигуру... Впервые я задумываюсь о том, какое безошибочное чувство красоты у моей мамы и как прекрасна она сама! Вернее, не задумываюсь — эти мысли тогда еще не сложились у меня в слова — просто я как-то внезапно прониклась таким ощущением. Прониклась больно, глубоко, — до слез.

— Аленушка, о чем ты загрустила? Устала? — Голос у мамы очень ласковый и в густом летнем воздухе звучит чуть приглушенно.

— Нет, я так, ничего...

Мы гуляем до прозрачных ленинградских сумерек. Находим все новые и новые полянки, на которых можно отлично расположиться. Мы и располагаемся, я получаю немножко хлеба, но на месте не сидится: хочется отыскать еще более удобную полянку. Я пробую всякие травки. С большим аппетитом уплетаю заячью капусту — трехпалые листочки, кислые, как щавель. Высасываю сладкий нектар из красных цветков клевера —

«кашки». К тому же мы собираем целый ворох превосходной сочной лебеды — она пригодится нам на завтра на обед.

Парк безлюден, торжественен. Безмолвен, если не прислушиваться к грозной воркотне пушечной канонады, которая не умолкает. А мы и не прислушиваемся. Стараемся не прислушиваться...

Кантаты и оратории

Вновь редуют ряды нашей коммуны. Ушел в армию скромный, неразговорчивый дядя Коля. Закончил учебный год, отзанимался с отстающими, расставил своим старшеклассникам «отлы», «хоры», «уды» и «неуды» по алгебре и геометрии, — и ушел. Пока он еще не на фронте — в казармах: проходит обучение. Раз в неделю он навещается домой — очень непривычный в новенькой гимнастерке и брюках-галифе. У него совсем не военный вид, несмотря на обмундирование. Он и говорит, как штатский, и ведет себя, как штатский. Дядя Саша подтрунивает над «нашим воякой». И — каждый раз — нарывается на обиды со стороны тети Сони. По своему обыкновению она резка:

— Ты бы помолчал, Сашка, а? Тебе-то в городе сидеть-отсидиваться, а ему...

Тут тетя Соня, прикусив губу, отворачивается к окошку, и я вижу, как у нее едва заметно вздрагивают плечи.

— Соня? Ты чего? — дядя Саша смущен. — Я ведь так просто, для поднятия духа... А что правого глаза у меня нет, так ведь я в этом не виноват... Был бы глаз, не сидел бы сейчас с вами...

Глаз дядя Саша потерял накануне войны: вбивал в стену ржавый гвоздь, а гвоздь наткнулся на кирпич, с силой отлетел... С тех пор и не расстается дядя Саша с черной повязкой. Впрочем, она придает ему весьма романтический вид. Зинаида Павловна любит подмечать эту деталь. Она почему-то неизменно оказывается в нашей комнате каждый раз, как приходит дядя Саша, хотя ее никто не зовет.

Папа в летнее время совсем замотался. Даже на скрипке перестал играть и больше не муштрует во мне стихотворца. Концерты, концерты, концерты... Да еще какие-то авантюрные эстрадные программы, которые отец вдохновенно сочиняет по ночам, да еще кружок художественного слова в соседнем Доме культуры... И как только папа выдерживает? Худой он, как телеграфный столб, полосатая трикотажная рубашка «бобочка» висит на нем аж складками. А штаны-то, штаны!.. Хоть двумя ремнями подхватывай!

И мама замоталась. Она пишет большую научно-исследовательскую работу — «История кантат и ораторий в России» и спешит завершить ее в срок. Стоит зайти разговору об этих кантатах, Зинаиду Павловну одолевает искреннее возмущение.

— Видали! Оратории ей понадобились! Нет, вы подумайте — блокада и оратории какие-то, обстрелы — и кантаты! Какой непросчитительный идеализм!

Какая глупость, упрямство! Кому все это сейчас нужно, скажите на милость! И добро бы, не было возможности хорошо устроиться? Так ведь есть она, такая возможность! Есть! Эх, Ольга, Ольга... На кого похожа-то? Прямо страх берет.

«Ничегошеньки она не понимает, — думаю я про себя. — Мама у меня красавица»...

— На себя бы внимание обратила, молодая еще женщина, — не унимается Зинаида Павловна.

Но мама не хочет обращать на себя внимания. Она роется в библиотеках, а дома, разложив на столе бумагу, линейку, остро наточенные карандаши, корпит допоздна над сложными нотными примерами.

— Деньги-то хоть за свои оратории получите? — не может успокоиться Зинаида Павловна.

— Нет... Не получу. Это плановая работа. За нее мне зарплату платят.

— Зарплату! Тьфу на вашу зарплату. За такую зарплату меня бы никто и пошевелиться не заставил.

— В этом я не сомневаюсь, — серьезно взглянув на соседку, отзывается мама. — Но, Зинаида Павловна, каждому — свое. Я чернорабочий от науки, но работать люблю и дело свое исполняю всегда добросовестно. Ничего, кончится эта проклятая война — пригодятся людям и мои оратории. Этой темы пока еще никто не касался, а здесь столько интересного!

...Нет в живых моей мамы. Она умерла — три года назад. От рака. На Васильевском, за стеклом стеллажа — сборник со статьей «История кантат и ораторий в России». И еще много, много других ее работ — больших и маленьких. Среди них и та, последняя, за которую, уже посмертно, присуждена моей маме, чернорабочему от науки, высокая Государственная премия...

Передай Петровой

Дядя Коля пришел попрощаться. Утром ему на передовую.

— Знаете что, — вдруг предлагает папа. — Давненько мы не были на Васильевском. Там уж, поди, заросло все. Взглянуть бы.

— Да, да, — поспешно соглашается мама. — Надо, надо.

И хотя на Васильевском, в нашем покинутом жилище, и сухаря черствого не сыщешь, и шагать туда километров десять пешком, и окна там кое-как заколочены щелястой фанерой, я тоже помалкиваю. Понимаю, иначе нельзя.

Мы быстренько собираемся. Тетя Соня и дядя Коля, молчаливые, большеглазые, провожают нас до двери.

А через неделю — всего через семь дней! — молоденькая почтальонша днем приносит белую бумажку.

— Как твоя фамилия, девочка? — с опаской спрашивает она.

— Комаровская.

— Передай Петровой, — с видимым облегчением говорит она и, круто повернувшись, сбегает по лестнице.

«Петров Николай Григорьевич... Погиб смертью храбрых...»

— А-а-а-а!..

Дома только Зинаида Павловна. Тетя Соня, как обычно, придет поздним вечером.

Соседка всплескивает руками. Огорчение ее непритворно:

— Бедная, бедная Соня! Она не переживет...

Я представляю себе, как тетя Соня, напрягая шею, тащит из раздаточной огромный поднос с трехэтажной пирамидой тарелок, как сует в карман выдавшего виды фартука талончики, какое у нее чернобровое, хмурое, милое лицо. И как она, весь-весь день бегая между столиками, ни на минуточку не забывает о своем Николае, толкует с ним, жалуется на усталость, улыбается ему...

Живому. А его уж нет. И не будет никогда. И лоб у него розовый, как у тех, в эвакупункте...

Потрясенный, расстроенный папа долго молчит, сдвинув свои «лохматки».

— Может, ничего ей сейчас не говорить?

— Никогда нам она этого не простит, — плача отвечает мама. — Человеку правда нужна, пусть самая тяжелая.

Сказать обо всем тете Соне должен дядя Саша. Он поджидает ее, приткнувшись на чурбачок у камина, опустив свои сильные руки.

...Ночь. В доме никто не спит. На краю своих нар, раскачиваясь, закрыв лицо руками, сидит тетя Соня. Она даже не плачет, только изредка издает какой-то низкий, хриплый, воющий звук, от которого меня пробирает дрожь. Мы все вокруг нее, но она сейчас одна, наедине со своим великим горем.

— Сашка, — вдруг резко вскидывается тетя Соня, — дай закурить.

Она, захлебываясь, давясь дымом, неумело держит в пальцах самокрутку с махрой. И жадно, голодно затягивается.

Так она курит до самого утра.

Среди сизого горького дыма наши собираются на работу. Уходит в столовую и тетя Соня, постаревшая, тяжело переступая ногами.

Поздней осенью 1942 года в нашей коммуне появился новый, голосистый, наделенный всеми правами участник — моя двоюродная сестренка Верка. Все дни она проводит в мягкой ямке, посередине тети-Сониной койки, перебирая смешными лапами.

Прямо над ней, на стене — маленькая фотография ее отца, плохая, любительская. Другой не нашлось.

Кончался первый год ленинградской блокады.

Дополнение

Был город-фронт, была блокада...: Рассказы, стихи, очерки, документы, хроника блокадных дней. Ленинград, 1984.

Утро Блокадный Ленинград Э. Фонякова Мне было 8 лет.

Вот уже 8 месяцев идет война. Более полугода...

Много это или мало?

Все, что было до июня сорок первого, кажется далеким и совершенно нереальным. Прогулка в зеленом сквере, пестрые «раскидаи» и петушки на палочке у лоточниц на углу Среднего проспекта и Шестой линии Васильевского острова, рвущаяся ввысь гроздь розовых и голубых воздушных шаров, которую с трудом удерживает на шесте старик продавец в съехавшей на затылок фетровой шляпе... Сон? Сказка? Сквер разрыт и прорезан насквозь окопами и щелями укрытий. Витрины магазинов на Среднем заложены мешками с песком, а в холодном зимнем небе вместо воздушных шаров зависли бурозеленые аэростаты, похожие на гигантские ливерные колбасы.

Я учусь в первом классе.

В 7 часов мама поднимает меня с постели. Это тяжелое испытание — за окном минус тридцать, да и в комнате немногим больше: за ночь выстудило последние остатки тепла. Дров у нас, как, впрочем, и у всех, давным-давно нет. Большая белая кафельная печь высится у стены ледяной глыбой.

Установленную против буфета «буржуйку» топим дедушкиными рукописями, старыми книгами, распиленными на куски стульями и книжными полками. Пока горит огонь, печурка раскаляется докрасна, от длинной, уходящей в форточку коленчатой трубы веет жаром. Можно даже ненадолго снять верхнюю одежду. Но утром... И хоть я сплю одетая в лыжный костюм и толстый свитер, мне не позавидуешь!

Приходится подниматься.

Комната плотно охвачена тьмой. Лишь над столом, вокруг язычка пламени, трепещущего в плошке, слабый ореол света. Электричества тоже давно нет, и каждый сооружает себе светильник из подручных средств. Наша коптилка придумана мамой: кусок воска для натирания полов и продернутый сквозь него фитиль из ботиночного шнурка. При таком освещении тени фантастически увеличены. Мамина занимает половину потолка, моя — чуть не всю стену. Тени двигаются, плывут, жестикулируют...

— Мыться!

Тень на потолке решительно вскидывает руку и указывает на дверь. Тень на стене понуро съеживается.

Легко сказать — мыться! А если вода в бидоне, как вчера, промерзла до дна?

И зачем такая морока? Ведь никто не увидит, что я не мылась, — и дома, и в школе сижу закутанная по самые уши.

Но с мамой спорить бесполезно. Сама она уже причесана, умыта, ватник аккуратно подпоясан кожаным ремнем, ватные брюки заправлены в валенки. Мама очень нравится мне в таком наряде, и сама я втайне тоже мечтаю о чем-нибудь подобном.

— Ты слышала? Мыться!

Я тащусь простывшим коридором на кухню, а мама готовит завтрак.

Времени у нее на это уходит немного — еды, как света и дров, у нас тоже почти нет. Когда я возвращаюсь, на столе дымятся две чашки с кипятком и посреди большой тарелки лежат два тонких, как картон, ломтика черного блокадного хлеба. Кроме того, в двух розетках для варенья понемногу черно-зеленой хряпы — вареной сорной капусты.

Все это мы съедаем очень быстро.

Пора вставать из-за стола, но я медлю. А вдруг произойдет чудо и появится какая-нибудь еда? Но чуда не происходит.

— Еще немного кипятку, если осталось. Можно?

Мама подливает мне остатки воды из прокопченного медного чайника, и я, прихлебывая ее, грею о чашку озябшие, негнущиеся пальцы. Из черной тарелки радиорепродуктора доносятся звуки музыки.

— Чайковский, — говорит мама. — Итальянское каприччио...

И, прикрыв веки, мечтательно улыбается: она знает и любит музыку.

Внезапно напевная, сладостно-нежная мелодия обрывается хорошо знакомым воем сирены.

«Внимание, внимание! Воздушная тревога!»

Мы с мамой взглядываем друг на друга.

Конечно, положено немедленно бежать в подвал, в бомбоубежище. Но там еще темнее и холоднее, чем дома. К тому же надо собраться: ей на работу, мне в школу.

— Знаешь, — говорит мама. — Пока суд да дело, мы можем немного почитать вслух, а там, глядишь, все и кончится.

— «Принца и нищего»? Да??

— Да. Вон он, на полке. Неси!

Мамино сероглазое лицо невозмутимо, движения спокойны и

уверенны. Чего же бояться и мне?

Мы садимся поближе к коптилке. Обняв меня за плечи одной рукой, легкой и прозрачной от худобы, мама раскрывает томик Марка Твена, и я уже вся в предвкушении удивительных приключений английского оборвыша. За стенами дома свистит и ухает, в любую секунду в нас — как и в каждого в тот момент — может угодить снаряд или бомба, но мы строго-настрого запрещаем себе об этом думать. Зачем? Ведь бомбят и обстреливают ежедневно — утром, днем, вечером, ночами. И если всякий раз дрожать от страха, нельзя будет жить, учиться, работать. А жить, учиться, работать ленинградцы должны — для будущего, для победы! Это твердо знают у нас даже первоклассники вроде меня.

Воздушная тревога и в самом деле кончается. Пронесло!

— Теперь давай быстро-быстро! — говорит мама. — Времени у нас в обрез!

Я набиваю портфель учебниками и тетрадками, надеваю через плечо маленький противогаз — один из уроков мы обязательно отсиживаем в резиновых масках с длинными хоботами, отчего становимся похожими на стадо слонят, — заматываю голову шерстяным платком.

— Я готова!

— Я тоже, — отзывается мама.

Как и у меня, у нее портфель и противогаз, — только и то и другое «взрослое», больших размеров. Кроме того, на отдельном ремне у мамы на плече висит бидон — на обратном пути через замерзшую Неву она наберет в проруби воды. В руке — двухэтажный алюминиевый судок. Как и многие в Ленинграде в ту зиму, мы прикреплены к столовой и раз в день получаем там немного мучной болтанки вместо супа и по блюдечку горькой грязно-желтой каши из пшена-сечки, которая заправлена каплей олифы... Мы спускаемся вниз по лестнице, ощупью находя ступеньки.

Уже на улице мама целует меня, и мы расходимся в разные стороны. Она — направо, в сторону моста лейтенанта Шмидта, к своему институту, я — налево, в школу, которая расположена неподалеку, в подвале шестиэтажного дома с башенками, в бомбоубежище.

Идти трудно. Ноги в калошах, надетых на стеганые, сшитые мамой чувяки, то и дело оскальзываются на горбатым от льда тротуаре. Недолго и упасть.

Тогда угодишь носом в сугробы, горной грядой выстроившиеся вдоль мостовой, — город некому чистить, он весь завален синими, неподвижными снегами.

Я спешу, но все равно двигаюсь медленно. Из утренней тьмы мне

навстречу также медленно плывет вереница светлячков. Это фосфоресцируют специальные брошки, которые ленинградцы стали носить, когда ввели затемнение. К моей шубейке прикреплена такая же.

— А ну, девочка, посторонись, — слышу я глуховатый голос.

Прижавшись спиной к сугробу, я пропускаю человека, тянущего за собой детские санки с чем-то длинным на них, завернутым в белую простыню. Еще кто-то умер от голода...

В школе теплее, чем дома. Наверное, оттого, что нас все-таки довольно много. Не снимая пальто, мы сидим на деревянных лавках перед длинными коричневыми столами — первоклассники, второклассники и третьеклассники.

Школа блокадная, и одна учительница управляет со всей нашей копошащейся толпой.

У доски встает учительница. Она без шубы, в опрятном синем костюме с высоко поднятыми плечами, в отглаженной белой блузке.

— Добрый день! — говорит она, улыбаясь. — Приготовьте свои тетради и книжки. Сегодня у нас очень ответственный урок. Попробуем читать, не разделяя слова по слогам...